„У врата"
„Златоуст"
1

«З Л А Т О У С Т»,
Русское Зарубежное Издательство
Мюнхен-Шляйсгейм.

НАШИМ ДРУЗЬЯМ

Работая месяцами в условиях, исключительно трудных для свободного и независимого русского слова, для честной и неподкупной русской мысли, наше издательство встретило, однако, со стороны соотечественников, волею Божьей и игрою исторических событий заброшенных на чужбину, такой живой отклик, такое горячее сочувствие и содействие и такую нравственную поддержку, что оно с глубокой верой в себя и в правоту своего дела смотрит на будущее.

Высоко держа знамя вековых идеалов и святых заветов Великой России и Святой Руси, но и учитывая при этом повседневные потребности своих друзей-читателей в самых разнообразных родах литературы, Русское Зарубежное Издательство «Златоуст» поставило себе целью широкую и всестороннюю программу деятельности, полное осуществление которой связано, правда, нередко с обстоятельствами, не всегда от нас зависящими, а порою и неблагоприятными. Мы просим поэтому своих друзей-читателей не пенять на нас, если мы не сразу можем исполнить все их желания и требования, но постоянно знать и понимать, что пожелания эти внимательно изучаются нами и что мы предпринимаем все возможное для их удовлетворения. Мы искренне благодарим соотечественников за их лестную для нас оценку наших изданий и, в особенности, за их предложения и советы, которые нами неизменно учитываются.

Мы имеем все основания надеяться, что уже в самом близком будущем Русское Зарубежное Издательство «Златоуст» сможет значительно расширить свою деятельность и выпустить в свет ряд так называемых «бездоходных» изданий, поскольку и в них встречается нужда среди русских людей в зарубежьи. Нами намечена широкая программа **литературно-художественных** изданий, в частности—общедоступная библиотечка русских классиков, мы будем продолжать выпуск книг и брошюр **духовного и религиозно-просветительного** содержания, нами будет выпущен ряд **научных и научно-популярных** трудов и работ, равно как и произведений **общественно-политического** характера, мы обратим особенное внимание на издание хороших и занимательных **книг для детей и юношества.** Кроме того, мы надеемся уже в ближайшем будущем выпустить ряд **переводов с иностранных языков** самого различного характера и содержания.

У ВРАТ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

А. И. МИХАЙЛОВСКОГО

ВЫПУСК I

АПРЕЛЬ 1947 ГОДА

„ЗЛАТОУСТ“
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЮНХЕН-ШЛЯЙСГЕЙМ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

Самое главное*)

Много лет тому назад — кажется, было это в медовый месяц революции 1917 года—попала мне в руки, только-что вышедшая из печати, еще пахнувшая свежей типографской краской, книжка „Русской Мысли", одного из лучших наших „толстых" журналов того времени. В ней был помещен рассказ, ни автора, ни названия, ни точного содержания которого я уже не помню: слишком много событий и впечатлений ворвалось тогда в жизнь каждого русского человека; было не до книг, не до вдумчивого чтения. От всего повествования сохранились в памяти только какие-то обрывки — отдельные образы и картины — да глубокое, словами почти не выразимое ощущение чего-то непередаваемо жуткого: чувство соприкосновения с тайною, заключенною в „прелести" зла, — когда дух захватывает от созерцания бездны, заглянуть и... ринуться в которую влечет и манит душу человеческую лукавый и мудрый Искуситель.

Твердо запечатлелось в памяти только одно: в рассказе говорилось о мальчике, о чистом еще в порывах своих ребенке, который слова молитвы Господней: „но избави нас от лукавого" привык — по детской нерадивости — произносить скороговоркою, неизменно пропуская лишь два маленьких словечка, так что получалось: „но избави лукавого"..

Проходили годы. Мальчик превратился в юношу, но детская привычка читать „Отче наш", заканчивая молитву прошением об „избавлении" дьявола, осталась. Наконец, он и сам заметил это, начал задумываться над скрытым смыслом произносимых слов, пока не стал, уже сознательно, жалеть Люцифера и горячо молиться за него. Сладкая соблазнительность этой жалости, проистекавшей, казалось бы, из веры в чудотворную силу всепрощающей любви божественного милосердия, дурманила сознание, опьяняла его: общность тайны с тем, „кого никто не любит и все живущее клянет", связывала, опутывала. Все больше и больше поддавался юноша сатанинскому искушению добротою, пока не завершилось все это постепенною победою злого начала над смятенною, но попрежнему полною благих стремлений, душою человеческою. Лишь вмешательство старца - инока спасло от окончательной гибели юношу, мучимого все новыми соблазнами, подпавшего под власть бесовских наваждений, в которых за маревом видений из миров иных уже чувствовалось испепеляющее дыхание геенны огненной...

Безусловная непримиримость начал добра и зла между собою—вот мысль, составляющая стержень этого рассказа, смелостью темы и внутренней правдивостью своею почти приближающегося к гениальным творениям Достоевского. Сегодня смысл повести становится еще глубже, еще шире замысла автора: в ней звучит для нас жуткое, хотя, быть-может, и не осознанное тогда писателем пророчество— уже не об единичной судьбе отдельного человека, а о грозных судьбах целого народа, поддавшегося соблазну искушения и, в исканиях добра и правды, лукаво вовлеченного на гибельний путь лжи и зла.

«Страшный и умный Дух, Дух самоуничтожения и небытия» (так определяет Искусителя Достоевский) знает слишком хорошо, что в первоначальной основе своей природа человеческая блага и непорочна, что она лишь искажена и обременена тысячелетним игом греха. Ибо ложь —это только нарушенная правда, а зло — лишь извращенное добро. Но и обратно: неполная, внутренне порочная правда неизбежно становится ложью, и нарушенное в своей целостности добро неминуемо вырождается в злое начало. И, если до появления Христа на земле «естественно» было известное смешение обоих понятий; если нередко стирались в сознании человеческом грани между добром и злом, то христианство сделало это окончательно невозможным. Ясен стал акт грехопадения, когда злое начало вошло, как действующая сила, в мир. Действительностью стала великая тайна искупления, которым сломлена была власть зла и открылся человеку путь Истины и Жизни. Осмысленной стала и земная история рода человеческого через обетование *вечного* возмездия, грядущего торжества Добра и Правды.

Лишь поколебав одну из этих трех опорных точек, к которым неразрывно прикреплена участь людей на все время

*) Статья представляет собою фрагменты из брошюры автора: „Соблазн зла" (Судьбы России).

их земного существования, можно потрясти судьбы и отдельного человека, и целых народов, и всего человечества. Не война и не террор, не голод и не мор таят в себе гибель для человека, а разрыв его бытия и сознания с тремя мистическими актами, верою в которые он живет.

Лукавая диалектика, стирая постепенно границы между добром и злом, искажая смысл окончательного торжества Божьей Правды и безусловной победы доброго начала в мире над злым, стремится поколебать именно эти три мистических акта, засорить в человеке источник его ведения о себе и отравить родник воды живой, из которого он только и черпает свои силы. Особенно опасна эта сатанинская диалектика тем, что опирается она вначале не на злые, а на добрые стороны в человеческой природе: божеское в человеке подстрекается к восстанию и бунту против Бога.

Распространенное представление, что политические и социальные движения, выносимые наверх девятым валом революционных бурь, оказываются победителями только потому, что они обращаются к инстинктам масс, в основе своей неверно. Победа великих по историческому значению своему революций обусловливается в первую очередь тем, что неистребимы в человеке и стремления к истине, и напряженное желание осуществить какую-то правду на земле, и постоянное искание добра и высшей справедливости. Не инстинкты, а высокие и идеальные порывы оказываются двигателями человеческих масс в исторические моменты их жизни и развития, и, если искаженная правда становится ложью, а извращенное, лишенное божественного огня, добро вырождается в свое отрицание и в свою противоположность, то это внутренний порок всякой диалектики «от лукавого». Поэтому и могла родиться поэма А. Блока „Двенадцать". Поэтому и историческая действительность, нами наблюдаемая, оказывается как-бы непрерывной цепью отпадений человека от своего Творца, поруганием Его творения, конечным торжеством и владычеством зла.

Мы знаем, что это очевидное явление есть нечто временное, что стоит только сбросить с себя ярмо греха и последовать за Спасителем, как мы почувствуем себя так же радостно и безмятежно, как первый человек до грехопадения, ибо сказал Христос: „Иго Мое благо и бремя Мое легко". Мы знаем, что неразрушимо и бессмертно по естеству своему христианское общество, пока оно остается—не по имени только—христианским.

Да, все это мы знаем давно. И не потому ли эти мысли неизбежно наталкиваются на глухое сопротивление окружающей среды, и людская масса воспринимает, в обстановке мирской суеты, слова о Правде и Добре, как что-то „избитое", «скучное», «назойливое» и «уже надоевшее»?

И не лежит ли так часто прелесть зла в «новизне» и «оригинальности» взращенных им систем и учений?

Всеми сознается необходимость политического, хозяйственного и социального оздоровления человечества, потрясаемого одним кризисом за другим; живо и болезненно ощущается потребность в культурном, т.е. духовном обновлении. Но как объяснить современному человеку, не желающему видеть смысла всего происходящего, что без глубокого религиозно-нравственного возрождения все это — пустые слова, плоть, лишенная духа и жизни? И, наконец,—основное и больное для нас: как помочь родному народу, после пережитого им лихолетия, выйти на путь духовного воскресения, как заставить широкие круги его интеллигенции понять, что вне Святой Руси, вне Православия нет и *не будет* России, — той духовно великой и душевно прекрасной России, культура которой по яркости и многогранности, по внешнему и по внутреннему богатству едва-ли знает что-нибудь равное себе в этом мире? Где найти силу убеждения и дар пророка, чтобы «глаголом жечь сердца людей» и заставить их проникнуться пламенной любовью к той православной Руси, что

„поддалась лихому подговору,
отдалась разбойнику и вору,
подожгла посады и хлеба,
разорила древнее жилище,—
и пошла — поруганной и нищей
и рабой последнего раба"?

Да позволено мне будет привести здесь замечательные строки своеобразного и гениального русского мыслителя В. В. Розанова:

> «Потому так упорно каждая церковь противится слиянию с которой-нибудь другой, что в сущности не в догматах только, но во всем своем внутреннем сложении, в каждой черте своего характера она есть нечто глубоко своеобразное и совершенно особенное от прочих Церквей. И это потому, что жизнь, которая бьется в них, бьется в каждой по особому типу.
>
> И, однако, одно Евангелие и один дух светится в нем. Если мы захотим дать себе отчет, который из трех типов жизни соответствует ему, мы непреодолимо и невольно должны будем сказать, что это—дух Православия. Когда нам будут указывать на неизъяснимое величие Католицизма, на безбрежность мысли, заложенной в нем, которою он увит

и обоснован с седой схоластики и до наших дней, — мы согласимся со всем этим и признаем также, что ничего подобного нет в нашей Церкви и ее истории. Если нам будут указывать на все плоды Протестантизма, на эту богобоязненность жизни, на свободу критики в нем и высокое просвещение, которое отсюда вытекло, — мы скажем, что все это видим и никогда не закрывали на это глаз. Мы спросим только: но христианство, но дух евангельский, но то, чему учил нас словом и жизнью Спаситель? Ничего нет у нас, ни высоких подвигов, ни блеска завоеваний умственных, ни замыслов направить пути истории. Но вот перед вами бедная церковь, вокруг рассеянные, около нее группирующиеся домики. Войдите в нее и прислушайтесь к нестройному пению дьячка и какого-то мальчика, Бог знает откуда приходящего помогать ему. Седой высокий священник служит всенощную. Посреди церкви, на аналое, лежит образ, и неторопливо тянутся к нему из своих углов несколько стариков и старух. Всмотритесь в лица всех этих людей, прислушайтесь к голосу их. Вы увидите, что то, что уже утеряно всюду, что не приходит на помощь любви и не укрепляет надежды—в е р а—живет в этих людях. То сокровище, без которого неудержимо иссякает жизнь, которого не находят мудрые, которое убегает от бессильно жаждущих и гибнущих,—оно светится в этих простых сердцах; и те страшные мысли, которые смущают нас и тяготят мир, очевидно никогда не тревожат их умы и совести. Они имеют веру, и с нею надеются, при ее помощи любят. Что в том, что дьячек невнятно читает на клиросе молитвы: но он верит смыслу их, и те, которые слушают его, нисколько не сомневаются, что за этот смысл он умрет, если будет нужно, и внидет в царство небесное, как и все они умрут и по делам своим примут мзду, к которой готовятся.

С этим покоем сердца, с этою твердостью жизни могут ли сравниваться экзальтации протестантизма и всемирные замыслы великой и гибнущей Церкви? Уныние в первом, тоскующее желание во второй — не есть ли симптомы утраты чего-то, без чего храм остается только зданием, и толпа молящихся—только собравшеюся толпою? И весь блеск искусств, которым они окружают себя, эта несравненная живопись, эта влекущая музыка, эти величественные кафедралы—не вытекает ли все это из желания пробудить в себе то, что в тех бедных молящихся никогда не засыпало, найти утраченное, что в той невидной церкви не было потеряно? Весь необъятный порыв желания, которым полна и трепещет Европа, не есть ли только желание залить великую грусть, которую она хочет и не может пересилить; и вся красота, величие и разнообразие ее жизни, ее цивилизации не напоминает ли великолепную ризу, в которую никогда более не облечется священник?

Так-то и произошло в истории это необъяснимое и глубокое явление, по которому „у неимущего отнялось и имущему прибавилось". В прекрасном евангельском образе Марии и Марфы, принявших в свой дом Спасителя, как-будто высказаны эти неисповедимые судьбы Церкви. Марфа, когда вошел Он, смутилась и заторопилась; она думала о богатом угощении и, в хлопотах о нем, забыла даже о Том, для Кого оно. „Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса и слушала слово Его". Измученная и раздраженная на нее Марфа подошла к Учителю и сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?"—И тогда произнес Он слова, в которых звучит смысл всей жизни и истории: «Ты заботишься о многом, Марфа, а одно только нужно; Мария-же избрала благую часть, которая не отнимется у нее".

Нашей Святой Церкви, по неисповедимым путям Промысла, суждено было избрать это „единое", которое только и нужно. Она только верила в Спасителя, слушала слова Его. Будем молиться, чтобы эта вера никогда не была отнята у нас, и не будем, по завету Учителя, сожалеть, что наши суетливые сестры так много успели сделать".

Мучительный вопрос волнует ныне душу каждого русского православного человека: сохранился ли еще дух Православия, это величайшее сокровище, завещанное нам нашими предками, т а м, в стране, которой принадлежат все наши помыслы, чаяния и чувства, в стране, которая, во всей греховности своей, по праву именовалась Святою Русью? Жива ли там, на родной земле, Православная Церковь, или уже погребена она под развалинами своих древних обителей и монастырей,—убитая «диаматом» и безбожием, духовно растленная всякими обновленческими, живоцерковными и сектантскими соблазнами или ядом новоявленного цезарепапизма? Мыслимо ли и осуществимо ли восстановление духовной ткани русской культуры, душою которой в течение тысячелетия было Православие — с его неискаженной верой во Христа-Богочеловека, как е д и н с т в е н н о г о источника и пути Жизни, Истины и Добра? И не являемся ли мы, изгои—разбросанные по всему миру обломки и осколки исторической России — последними хранителями русской культурной традиции и унесенного с собою в изгнание светильника веры православной, который мы бережно и трепетно должны будем пронести через все бури и непогоды житейские и донести, н е у г а с и в, до родной земли? Не выполняем ли мы этим свою историческую и культурную миссию перед русским народом (что одно, быть может, составляет все нравственное оправдание нашего существования за рубежом)?

Мучительны эти вопросы; страшен яд *сомнения*, отравляющий душу, ослабляющий *волю...*

Кто же, как не мы, писатели, служители слова, глашатаи Правды и Добра, понесет на родную почву завещанные нам

героями и подвижниками русскими семена ее духовного просветления и воскресения? Кто же, как не мы?..

Легкое, едва заметное дуновение *свободы* коснулось нас—и сразу стало легче жить, легче дышать,—дуновение той *свободы духовного творчества*, без которой мертвеет и костенеет язык, вянет мысль, чахнут дарование, талант и гений, иссякает великий, божественный дар слова, и литература превращается в жалкий подголосок той или иной «политграмоты».

И нигде, как в *Православии*, находим мы высшее оправдание этой свободы духовного творчества, неразрывно связанной с духом *терпимости* ко всему, что не явное порождение зла. Ибо подобно истине и добру, и *свобода*—это то вечное и первозданное, к осуществлению чего стремится не отягощенная бременем греха природа человеческая в своей первоначальной чистоте:

разум — к Истине,
чувство — к Добру,
воля — к Свободе!

Поэтому всякое умаление и извращение свободы оказывается неизменно нарушением и поруганием *божественного* начала в человеке, «Дух дышит, где хочет»: он не терпит ни внешнего принуждения, ни—тем более—раболепного низко-поклонства.

И, так же, как истина и добро, нарушенная, искаженная свобода неминуемо превращается в свое отрицание и в свою противоположность, становится соблазном и искушением, вырождается или в распущенность и разнузданность, или в насилие и произвол. Новейшая история человечества достаточно ярко это подтвердила...

Когда из нашей же среды раздаются голоса о том, что мы занимаемся неблагодарным делом провозглашения «неоспоримых и общеизвестных истин», или что мы «ломимся в широко открытую дверь», — то не чувство недоумения охватывает нас, нет — но сознание, что мы говорим с оппонентами нашими на разных языках, что мы движемся в *иной* плоскости восприятия и мысли, чем они.

Никакое «знамя солидарности» не может заменить собою евангельской правды, и всякая подмена христианского мировоззрения и жизнепонимания новыми «измами», — пусть даже окрашенными в самые соблазнительные и модные ныне цвета, — должна быть отвергнута решительно и недвусмысленно.

«Кто не со Мною, тот против Меня»— этих слов Христа, кристально - ясных в своей предельной простоте, невозможно окутать никакими софистическими поправками и оговорками, никакими туманами самых стройных систем, воздвигаемых на домыслах человеческого рассудка.

«Ты заботишься о многом, Марфа, а *одно* только нужно»...

Это *одно*, единственно важное—особенно, в наши дни переоценки всех ценностей,—не позволяет стоять «по ту сторону добра и зла». Оно требует определенного, *свободного* решения и выбора, больше того —налагает на нас долг *исповедничества*.

И, как бы ни побивали нас морально камнями, мы настойчиво и упорно будем исповедывать и *проповедывать* то «одно», чему учил Спаситель: *самое главное*.

«Неоспоримые и общеизвестные истины», от которых — под разными предлогами—многие предпочитают досадливо отмахиваться, как от чего-то, повидимому, мешающего проведению в жизнь того или иного «изма», не могут быть сданы в архив: дело идет не о политических, экономических и социальных теориях и даже не о философских спорах, а о вопросе жизни и смерти—*вечной жизни* и *вечной гибели*.

Не только перед каждым из нас—перед Россией в целом стоит роковой вопрос ее судьбы.

Россия скажет еще свое слово. И ждать осталось недолго, ибо *исполнились сроки*. Свой ответ Земля Русская должна будет дать миру:

«О Русь! В предвиденьи высоком
Ты гордой мыслью занята:
Каким же хочешь быть Востоком —
Востоком Ксеркса иль Христа»? —

ВЛАДИМИР ГОРДЕЕВ

У врат

Старик, открывший мне окованную дверь,
Ревнивую к покою тихих келий,
Ответь мне на вопрос и тайное поверь —
Вступил сюда ты радостным, в тоске ли?

Манил тебя ли монастырский старый сад,
Где между клумб пионов, роз и циний,
Любуясь на седой готический фасад,
Задумчивые бродят капуцины?

Иль в грудь твою, страшней наемного ножа,
Впилась тоска, ты слышал голос дальний,
Когда ты, бледный и растерянный, вбежал
И на пол бросился исповедальни?

Не раз в глухую ночь, в пытающей тиши,
Склонялся ты над томиком Палотти,
Ища в пыли страниц покой своей души,
Похищенный коварной силой плоти.

В молитвах жизнь—она бестрепетна теперь,
И близок Бог к тебе в твоей пустыне,
И мир не сокрушит окованную дверь,
Не возмутит покоя роз и циний.

Пройдут мятежные, бурливые года,
Не знаю сам я — в радости, в тоске ли,
Но только, чувствую, что я приду сюда,
И жизнь найду в тиши прохладных келий.

После войны

Калеками стали солдаты,
Полмира разрушили бомбы...
И все, чем мы были богаты,
Мы взяли с собой в катакомбы.

В былом мы находим отраду
И силы мы черпаем в этом,
И в тихом мерцаньи лампады,
Россия безмолвно отпета.

Пора ли страданий настанет, —
Не ропщем, немногим довольны,
Мы—русские, мы—христиане —
От этого сладко и больно.

Во мраке—мы верим в просветы,
И сквозь мировую разруху
Мы скромно несем самоцветы
Бессмертного русского духа.

А. ПАШКОВ

Клинок

Он пришел из позабытой дали,
Рассекая времени поток, —
Из дамасской благородной стали,
Словно смерть, безжалостный клинок.

Сквозь века прошел он, не состарясь,
Тверже камня, гибче тростника,
И не счесть тех рук, что прикасались
К этой стали в прошлые века.

Безымянный мастер на Востоке,
Верность глаза передав руке,
Из Корана пламенные строки
Разбросал узором на клинке;

Побывал он в половецком стане,
На Непрядве прикипал к рукам,
Он звенел по берегу Кубани,
Добывая славу казакам...

Что ни день — то новая победа!
Закаленный в крови и огне,
Тот клинок с казачьей славой деда
По наследству перешел ко мне.

Он сверкнет блестящей полосою,
Просвистит, как сокола полет,
Чтоб ударить ярою грозою
В час, который, знаю, подойдет.

Для того пришел из древней дали,
Рассекая времени поток,
Из дамасской благородной стали,
Словно смерть, безжалостный клинок.

ЛЕОНИД ИРИНИН

* * *

Ты покарал меня, изгнав из дома,
Я долго шел на солнечный закат.
И в пепле дней стучался я у входа
Твоих давно забытых мною врат.

К Тебе пришел я в скорбях, в страшных муках.
Очистив с сердца огненный накал, —
Не со щитом, во славе трубных звуков,
Я в рубище душой Тебя познал.

П. Н. П.

ГЕРОЙ

„Времени больше не будет"...

(Апокалипсис, гл. X-6).

Приступы болезни следовали с какой-то ритмичностью, и каждый раз, когда больной впадал в беспамятство, ему чудилось, что он стоит у закрытых дверей, а снаружи слышны заглушенные крики, грохот повозок, гром выстрелов. Он знал, что если дверь откроется, то дикий хаос звуков ворвется и поглотит его, и потому придерживал дверь плечом, чувствуя, как она, словно живая, вся дрожит от грохота снаружи.

Когда ему становилось лучше, он обводил глазами знакомую спальню, узнавал жену, детей, доктора. Он даже пытался улыбнуться и показать им, что все это совсем уж не так страшно, и что даже, если смерть близка — он встретит ее храбро...

Храбро! Да, вот слово, сопровождавшее его всю жизнь со времени его подвига, о котором не забыли и теперь, столько лет спустя... Его взгляд остановился на груде газет и журналов. Всюду его портреты, биография... Герой, покрывший славой себя и свое отечество... Храбрец, рискнувший жизнью для своей родины...

Да, столько лет прошло, а он, как сейчас, видит перед собой аэродром с одинокой машиной. Отлет его был окружен глубокой тайной, и летел с ним только его механик. Вечерело. И когда аэроплан набрал высоту, на западе еще горело розовое сияние зари, и два золотых облачка неподвижно застыли на горизонте, словно купаясь в ее лучах.

Тонкий рог месяца висел в темнеющем небе, и казалось, что аэроплан, делавший более тысячи километров в час, так же неподвижен в голубом воздушном океане, как неподвижен этот серебряный рог.

Рука летчика машинально касалась приборов, а в гул пропеллера назойливо вплетался когда-то им слышанный мотив. Он не думал ни о чем, и голова его была так же изолирована от посторонних мыслей, как была изолирована кабинка его аэроплана от холодного воздуха стратосферы.

В наушниках радио-приемника внезапно затрещал сигнал, и он протянул руку к рычагу, выбрасывающему бомбы. Аэроплан спускался. Темно - голубой океан воздуха прорезался серебряными пальцами прожекторов, бесшумно и как-будто бесцельно ощупывавших небо. Потом эти белые пальцы расцветились рубиновыми точками взрывов, и навстречу ему с земли поднялся танцующий хоровод мигающих звездочек.

Летчик смотрел вниз. Город как-будто пытался скрыться от него в густой вуали ночного тумана, словно затаил дыхание в предчувствии грозящей опасности, словно наклонил голову и ждал рокового удара от парящей над ним одинокой точки.

И удар пришел... Летчик повернул рычаг. Десяток бомб, свистя и кружась, ринулся в воздушную бездну. И секунды спустя, когда аэроплан отлетел на сотни метров, земля ахнула под ним, ахнула снопами ярких взрывов, гулом землетрясения, клубами дыма и вихрем раскаленного ветра. Аэроплан рвануло и бросило в воздушную яму. Секунды он летел стремглав вниз, потом подхваченный другою волной, взлетел вверх, и летчик почувствовал, что контроль машины в его руках...

Рассветало, когда он спускался на аэродроме. Какая встреча была ему устроена! В той колоссальной работе, которая была проделана, чтобы обеспечить ему успех, принимали участие сотни ученых, тысячи рабочих, были затрачены огромные средства, погибли первые исследователи, но он, на долю кого выпало только поставить последнюю точку, он в глазах всей страны оказался воплощением и научных изысканий, и затраченных средств, и труда, и гибели других, стал символом торжества техники и разрушительного гения человека...

Опять эта трясущаяся дверь... Опять, уже слабеющим плечом, пытается он удержать бьющий в нее прибой бушующего снаружи моря... И снова комната, тихий шопот близких, и лицо доктора, и рука жены на влажном лбу... Его взгляд скользит по лицам и предметам и вдруг останавливается. На пороге—темная фигура с крестом в руках... Священник... Ах, конечно... Есть Бог—таинственное существо, Которому больной обязан всем—и своей удачей, и своей спокойной жизнью, и всеми ее радостями. И этот Бог зовет его к Себе, в Свое царство вечного блаженства и награды за правильно прожитую жизнь... Так учит церковь... И больному радостно. Он смотрит на крест в руках священника

и слушает его обещания вечного блаженства от имени Того, Кого он представляет тут, на земле. Больной спокоен. Он даже улыбается какой-то детской улыбкой... Да, жизнь была прекрасна, и награда за эту прекрасную жизнь...

Трясется дверь. И уже нет больше сил удержать ее. Снопы света и хаос звуков врываются и кружатся вокруг бешеным водовбротом, подхватывают его, несут на гребне волны и вдруг бросают его куда-то вниз...

И сразу становится тихо. Синим туманом полна незнакомая улица. Темными окнами смотрят ряды как-будто застывших домов. Из-за угла, прижимая к груди закутанного в одеяла ребенка, бежит женщина, и кто-то кричит ей: «Сюда! Скорее сюда!» Она спотыкается, бежит дальше; шаги ее все ближе звучат по каменным плитам тротуара и вдруг:

Город ахнул, ахнул снопами яркого света, гулом землетрясения, клубами дыма и вихрями раскаленного ветра. Ахнул грохотом рухнувших зданий, воплями засыпанных людей, воем пожарных сирен, радостным ревом пламени, вырвавшегося из дверей, окон, из чердаков и крыш, из лопнувших газовых труб и рассыпавшегося по улицам тысячами горящих балок и миллиардами искр, закружившихся над городом бешеным, золотым хороводом...

И тут он увидел ее—женщину с ребенком. Она лежала в полужидкой массе расплавленного от жары асфальта, прилипшая к нему, обожженная, вся — комок тряпок и крови. И судорожно, словно отталкивая от себя, она подымала над собою ребенка, и ребенок кричал, задыхаясь в едком дыму, и крик его тонул в дикой оргии огня и ветра...

Он смотрел. И пока он смотрел, что-то непостижимое, что-то безумно-страшное совершалось вокруг. Звуки слились в один ровный гул. Танцующее пламя застыло в диком взлете. Падающая балка повисла в воздухе, и женщина в расплавленном асфальте стала, как черная статуя...

ВРЕМЯ — ОСТАНОВИЛОСЬ...

Ужас объял человека. Словно все существо его оказалось сжатым каменными стенами, словно камень этот проник в его душу, заполнил безжизненной массой его сердце, сковал его ум.

Ужас уничтожения объял человека. Страх быть сжатым, сплющенным, раздавленным и навек погребенным в этом каменном мешке ОСТАНОВИВШЕГОСЯ мгновения, в секунде времени, застывшей в вечности.

Все существо его отчаянно рванулось: вон отсюда—в движение, в жизнь, пусть в преступление, в ужас, в отчаяние, но туда, где время движется в вечном полете, где один миг сменяется другим! Он рванулся со страшным усилием и, словно сдвинув каменную стену, упал по другую сторону ее...

Сноп золотистого света проник в окружающую его мглу. Он вгляделся в танцующие в нем золотые пылинки и увидел, что луч этот падает из высокого окна, идет через всю церковь и золотит головку мальчика, сидящего на скамейке. Этот мальчик—он сам. Он смотрит вперед широко открытыми глазами прямо на чудесную картину на стене перед ним. На картине —холм, и на нем темные силуэты испуганных людей, закрывающих лица от яркого света. А свет исходит от белой фигуры, поднявшейся над землей, легкой, прозрачной, пронизанной сиянием и стремящейся к небу. Мальчику нравится эта картина. Она его немного страшит. Кто эти испуганные люди? Чья это сияющая фигура? Он трогает руку женщины рядом с ним и шепчет: «Мама, мама»... Но женщина его не слышит, мысли ее заняты иным. И человек знает ее мысли и мысли других, сидящих в церкви. И не только знает, но переживает их вместе с другими, потому что мысли эти раскрываются ему, он входит в них, видит заботы и радости тех, кто сейчас сидит в церкви, наполненной солнечным светом и густыми звуками органа. Ему странно и хорошо тут, но какое-то жуткое беспокойство начинает его томить; что-то настойчиво и властно тянет его к себе, как магнит, и вот исчезает церковь, слышны гул, треск пожара и крики, и он с ужасом и отчаянием вновь видит разрушенный взрывами город, пламя и искры, летящие над крышами, и вот медленно застывает взметнувшийся огненный язык, виснет в воздухе падающая балка, и страшной черной статуей застывает фигура женщины с ребенком на расплавленном асфальте мостовой...

ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ... Страшный магнит застывшей в вечности секунды тянет его из всех годов и дней его жизни... Неужели же некуда уйти отсюда? От этого застывшего пламени, от этой страшной статуи? Неужели во всем его прошлом нет мгновения, которое он хотел бы обратить в вечность? Он жадно вглядывается в свое прошлое, находит в нем такой момент и с радостью, наполнившей все его существо надеждой на спасение, кидается к нему, погружаясь в его струи, как путник, истомленный зноем пустыни, припадает к свежему источнику.

Миллиардами золотых искр играет солнце в струйках ручейка, звонко бегущего по каменистому ложу. Он стоит на берегу. Кругом—зеленый ковер поля пестро выткан цветами. Синеют на горизонте

горы, откуда-то звучит колокольный звон... Он не один. С ним рядом стоит и смеется девушка. Оба молоды, возбуждены весной и близостью друг-друга. Он сбрасывает сапоги и берет девушку на руки. Прохладные струи ручейка ласкают его ноги, а девушка, смеясь, прижимается к нему...

— «Остановись!»—кричит он кому-то. «Пусть время теперь остановится, пусть в вечной неподвижности застынут струи ручья, цветы в поле и колокольный звон в воздухе, пусть в вечной радости бытия замрет восторг моего сердца и пусть в вечном доверии и любви прижмется ко мне навсегда эта девушка»!

Но уже страшной силой тянет его магнит. Отчаянно сопротивляясь, со стоном выпуская каждый миг сияющего солнцем ландшафта, отрываясь от него и оставляя в нем частицы самого себя, летит он в черную бездну времени, и смыкается вновь вокруг него страшный ящик окаменелой секунды; вот уж вновь застывает вихрь пламени, неподвижно виспет падающая балка, и ужасом веет от темной фигуры женщины, застывшей на расплавленном асфальте мостовой...

Нет сил бороться... Безысходной тоской наполняется все существо человека. И чудится ему, что вся мука умирающей женщины переливается в его сердце, что страх и отчаяние, страдания и горе всех тех, кто погиб в городе, кто задыхается в темных подвалах, кто придавлен упавшими балками, кто, ломая ногти, раскидывает камни, добираясь до засыпанных близких, все это входит к нему в этот окаменевший миг времени, все это наполняет его таким нестерпимым, таким АДСКИМ мучением, что только один беззвучный, но на весь мир слышный вопль вырывается из груди человека:

«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ»!

И тогда, в глубине окаменевшей улицы, стало разливаться бледное сияние. И в этом сиянии выступила белая фигура, идущая над землей, та же сияющая фигура, от света которой закрывались люди на холме. Сияние приближалось, и вот оно коснулось страшной, мертвой фигуры, застывшей на расплавленном асфальте мостовой, и черная статуя ожила. Человек увидел, как женщина поднялась, как посветлели ее одежды, как счастливо улыбнулась она порозовевшему ребенку.

Обе фигуры подошли к тому ящику, где в окаменелом навек мгновеньи, в АДСКИХ страданиях был заключен человек.

И вот говорит женщина:

—«Господи, не Ты ли сказал: Отче, прости им, ибо не ведают, что творят»?

И человек почувствовал на себе взгляд, проникший сквозь стены каменного мешка в самую глубину сердца, пронизавший насквозь все существо человека и вливший в него таинственную силу...

Упала горящая балка.. Огненной гривой взметнулось пламя, и золотым дождем рассыпались горящие искры...

Человек стоял, и мимо него безконечной вереницей шли тысячи и тысячи теней, освобожденных силою Прощения и Любви. И когда прошла последняя тень, человек побрел за нею. И было ему радостно быть последним среди тех, кто простил его, ибо НЕ ВЕДАЛ ОН, ЧТО ТВОРИЛ...

Но и тени смирения не было на бронзовом лице авиатора, когда сдернутый покров открыл памятник его взорам многотысячной толпы. Восторженные крики смешались со звуками оркестра, и, когда шум утих, долго еще с трибуны славили ораторы подвиг того, кто в одну ночь уничтожил вражеский город...

Кн. Н. КУДАШЕВ

Остап

Попался Бульбенко Остап!
Не помогла ему отвага,
Нет, не был он ни хил, ни слаб, —
Он показал бы им, когда б
Не набежала вновь ватага.

Стоит помост... Кричит народ:
„Казачьей крови“, „Глав чупринных“,
„Ведут! Ведут“! Остап идет.
Он головы своей не гнет,
Сильна в нем гордость Украины.

Лишь под насмешек гулкий град,
Когда взошел на плахи крышу,
Он на восток направил взгляд...
„О, батько! Слышишь“? Говорят,
Ему ответил голос: „Слышу“!

На плаху, медленно, свою
За годом год, все выше, выше
Иду я гордо и пою,
Но ни в изгнаньи, ни в бою,
Никто в ответ не крикнул:—„Слышу“!

Кременчуг

Луна! Над спокойным Днепром,
Белеют фасады Растрелли!
„Фантазии остров“ пятном
На фоне желтеющей мели.

Скользит одинокий челнок.
Покой и речная прохлада...
Дурманит степной ветерок
Акацией ближнего сада.

На дамбе огни папирос,
Там юности нежной дыханье,
Там локоны девичьих кос,
Там первые чьи-то признанья...

За дамбою тянется луг,
До самой синеющей рощи...
Мой милый, родной Кременчуг,
Где жизнь была чище и проще...

Там в заводях спят камыши,
Полощутся дикие утки...
Как сны о былом хороши,
И как пробуждения жутки!..

УКРАЙНА

Здесь Вию подняли ресницы,
Здесь задыхались мертвецы,
Здесь при луне неслись гонцы
И ширь Днепра не брали птицы...

Здесь у вишневого садочка,
Про Сечь певали кобзари,
Здесь трепетно ждала зари
Колдунья, сотникова дочка...

Молчат могильные курганы,
Осев на заповедный клад,
Здесь древний путь на Цареград
Видал казачии жупаны...

Как хороша и как бескрайна
Твоих степей седая быль...
Благословляю твой ковыль,
Родная, русская Украйна!

Все миновало... Только хаты,
Садок вишневый, сонный пруд,
Да песни, что порой поют,
Напомнят бывшее когда-то...

Г. КРЕМЛЕВ

МАХОРКА

„Эх махорочка, махорка,
Породнились мы с тобой.
В даль глядят дозоры зорко.
Мы готовы в бой!..“

(Советская солдатская песня)

Штаб батальона помещается на берегу Волхова. Река скована льдом. Кругом глубокий пушистый снег севера. Под снегом непромерзшее болото.

К вечеру снег местами чернеет от минных разрывов, от снарядов немецкой артиллерии и бомб, сброшенных с самолета. Но ночью проходит пороша и снова покрывает чистой белой простыней это поле страданий русского человека, называемое линией фронта.

Штаб помещается в громадном блиндаже, построенном немцами, оставившими это сооружение во время отступления. Крепкие, в обхват, бревна уложены прочно и аккуратно. Вверху — накат в восемь рядов бревен, перемежающихся с железнодорожными рельсами. Сидеть здесь почти безопасно.

Я только что вернулся из лазарета, с незажившей еще раной на ноге. Мне разрешено до вечера отдохнуть в штабе, и я с удовольствием вытягиваюсь на полу, расправляя ноющую больную ногу.

Просыпаюсь от грохота взрывов. Немцы обстреливают наш блиндаж. Громадные бревна дрожат и с потолка сыплется земля.

— Шесть часов,—говорит кто-то рядоло. — Точно начинают, сволочи!

Выстрел ведется регулярно: в 6 утра, в 12 дня и в 6 вечера. Продолжается 30 минут. Когда последняя тяжелая мина разрывается где-то в стороне, мой сосед говорит:

— Жрать пошли фрицы.

— Где начальство? — спрашиваю я.

— В штабе полка по вызову, — отвечает сосед.

— Ты что здесь делаешь?

— Связным состою от первой роты.

Нынче спокойно: дня четыре опять наступать не будем.

— А ты откуда знаешь?

— Знать не хитро: в нашей роте тридцать два осталось, во второй — 28, в пулеметной 13,—вот тебе и весь батальон! Кто будет наступать: комбат с комиссаром, что ли?

Мой собеседник — молодой курносый парень, с чумазым от долгодневного неумывания лицом, блестит белыми зубами в полутьме блиндажа и весело подмигивает.

— Ты давно на фронте? — спрашиваю я.

— Почти полгода,—отвечает он.

— Не ранен?

— Нет, такое счастье имею.

— И все связным?

— И все связным! Курить есть?

— Я не курил уже несколько дней.

— Сволочи,— коротко бросает сосед.

— Ты про кого?

— Про тех... вообще... там в штабах сидят, в тепле и «Казбеки» курят, а солдату на фронте махорку не дают.

— Мы в госпитале полмесяца табаку не получали, — сообщаю я.

— Мы тоже без курева. Я мох курил, —не сладко!

— Давай карманы выворачивать, — предлагаю я.

Расстилаем кусок бумаги и вытрясаем карманы огромных, не по росту сшитых шинелей. Несколько пылинок махорки вперемежку с хлебными крошками, иглами хвои.

— Без хлеба терплю, а без махорки невозможно,—говорит связной.—Потемнеет поболе, пойду табак по карманам шарить.

— По каким карманам?

— Эва, не знаешь? А тут недалече в штабелях!

— В каких штабелях?

— Да в убитых штабелях! Хочешь, поползем? Начальства нет, теперь свободно...

— И много там махорки?

— Как повезет: когда и целый карман наберешь.

Соблазн велик. Восьмушка махорки — клад. Несмотря на больную ногу, я соглашаюсь.

— Пошли, — говорит связной, и мы выползаем из блиндажа.

На дворе уже стемнело, однако, после темноты блиндажа, обострившей зрение, мы хорошо видим. Путаясь в полах шинели, я ползу за связным в надежде получить горсточку дорогой махорки. Время от времени немцы пускают ракеты. Они взлетают высоко в небо и вспыхивают ярким лунным светом. Тогда мы зарываемся глубже в снег и недвижно лежим,

пока ракета медленно катится вниз. Затем ползем снова.

— Вон она, штабель, — говорит связной, поворачивая ко мне чумазое лицо.

Подползаем ближе к какой-то серой насыпи, покрытой сверху снегом. Я не могу понять, что это такое, пока вплотную не подползаю к серой стене. Ужас охватывает меня: штабель смерти! Как дрова, сложены трупы убитых солдат, набросаны друг на друга... Вот свесилась голова человека, превращенного в послушного военного робота. Открытые глаза полузасыпаны снегом; рот белеет зубами в последнем смертном крике; под щетиной небритого подбородка — белила смерти. Вот свесилась рука с замерзшими грязными пальцами, пытающимися в последний раз ухватиться за родную землю... Вот пара валенок с продранными пятками. Из дыр торчит кусок портянки... Коротко остриженная голова, залитая застывшей кровью... Навзничь брошенное тело: в судороге поджатые ноги, разбросанные в стороны руки... Сотни смертей в этом штабеле!

— Ползи сюда, с этой стороны немцы не видят, — шепчет мне связной.

Я машинально ползу за ним, огибая протянутые ко мне мертвые руки и ноги.

— Ну, теперь можно и встать, за штабелью немец не заметит, — говорит связной. — Теперь давай в карманах шарить, махорку искать.

Он стаскивает со штабеля первое попавшееся тело. Трещит ломающаяся пола шинели, залитая застывшей кровью. Нащупывает карманы и удовлетворенно сообщает:

— Полкармана махорки! Не успел, значит, выкурить. Это, видно, с прошлой недели,— тогда по две восьмушки выдали.. А ты что стоишь? шарь, шарь по карманам!

Я дрожу мелкой дрожью и не могу овладеть собой среди этого страшного кладбища. Однако, беру мертвеца за холодную скрюченную руку и с силой тяну на себя. Он падает, как бревно, а за ним скатываются со штабеля еще несколько застывших трупов, зарываясь в снег головами и руками.

— Шарь, шарь в карманах! — шепчет связной.

Я ставлю мертвого к штабелю и, преодолевая ужас и отвращение, отворачиваю полу шинели. Запускаю руку в холодный карман стеганых брюк. Сразу нащупываю пачку махорки и какую-то бумагу. Сдерживая дрожь, вынимаю находку и перекладываю в карман своей шинели. В это время со свистом вздымается ракета, и при яркой вспышке я вижу перед собой белое схваченное морозом лицо... Оно улыбается!.. Последняя смертная улыбка! Не страх смерти, не страдание, а улыбка молодого безусого лица. Голова с высоким черепом и коротко остриженными, по-солдатски, волосами. Эта улыбка поражает меня сильнее всех остальных масок предсмертного страдания и боли... Я не выдерживаю и бросаюсь прочь от штабеля.

— Куда ты, чего испугался? — шопотом спрашивает связной, но я не оборачиваюсь и ползу по старому следу. Коротким прыжком он догоняет меня и ползет рядом.

— Много их тут лежит, — слышу я его шопот, — это за три последние наступления. Раньше такая же штабель была, ту увезли, в лесу зарыли. А мы всегда сюда ходим махорку шарить... Надо только тихо, потому, если начальство заметит — плохо дело будет...

...В блиндаже попрежнему. Начальство еще не вернулось. Я долго лежу с закрытыми глазами, слушая удары сердца. Улыбающийся молодой мертвец не выходит из моей памяти.

— Закурим, браток? — предлагает все еще шопотом связной. Я смотрю на его грязное молодое лицо, и улыбка его при свете коптящего телефонного кабеля кажется мне похожей на ту улыбку... Я резко подымаюсь, так, что в раненой ноге вспыхивает боль. Эта боль глушит остроту воспоминания.

— Конечно, немного неладно мертвяков-то шарить, — снова шепчет связной,—да, ведь, браток, им махорка - то больше ни к чему, а нам табак нужен... живой о живом думает...

Я нащупываю в кармане шинели пачку махорки. Ну, конечно, он прав! Живой думает о живом! Разве мало видел я в эту войну мертвых, выглядевших, как живые, и живых, похожих на мертвецов? Пора бы уже притупиться всякому чувству...

Свертываю папиросу и курю этот последний, посмертный подарок улыбающегося мертвеца. Да, что за бумага? Газета на закурку, лежащая рядом с пачкой махорки? Нет. Письмо. Последнее письмо...

«Здравствуйте, папа, мама и сестренка Вера! Сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Сижу в окопе и мечтаю, когда снова буду вместе с вами. Очень хотелось бы поесть пельменей, какие ты, мама, делаешь. Немцы нас часто беспокоят, но я уже привык к обстрелу и бомбежкам. Много писать некогда. В другой раз напишу больше. Жив ли еще наш Шарик? Если бы он был со мной, все было бы веселее. Целую вас всех. До свиданья. Ваш сын и брат Федор».

Е. КОВАЛЕНКО

СЕСТРЕ

Там, где старая ракита
Над Днепром цвела,
Ты мне в детстве позабытом
Матерью была.
Жизнь твоя — печаль и муки,
Вся в скорбях прошла . . .
Где твои святые руки,
Милая сестра?

Тонкий стан и нежный голос
Изломала жизнь,
Ты страдала, ты боролась . . .
Где ты? Отзовись!
Где тебя встречают зори,
Ранние утра,
С кем свое ты делишь горе,
Милая сестра?

Может быть, ты просишь Бога
В искренней мольбе,
Чтоб меня моя дорога
Привела к тебе.
И когда трещат морозы,
Стынет лед Днепра,
Ты роняешь горько слезы,
Милая сестра!

Может быть, как спелый колос,
Подломилась жизнь . . .
Где ты? Где? Подай свой голос,
Тихо отзовись.
Может быть, живешь без крова,
От скорбей стара,
Хоть одно скажи мне слово,
Милая сестра!

И когда на снег, на крыши
Упадет закат,
Может быть, тебя услышит
Твой любимый брат,
Может быть, в такой же вечер
Подойдет пора,
Что с тобой дождусь я встречи,
Милая сестра!

К РОДИНЕ

Ты мне дала и молодость, и силу,
И слова дар, и мужество в борьбе,
Вся жизнь моя, с рожденья до могилы,
Вся до конца принадлежит Тебе.

Веди меня тернистыми путями,
От смерти в жизнь, через горнило бед,
Куда зовет, сияющий над нами,
Твоей зари неугасимый свет.

На ратный подвиг дай мне вмеру силы
И кровь и душу закали в борьбе, —
Вся жизнь моя, с рожденья до могилы,
Вся до конца принадлежит тебе!

РОДИНА

Есть много сел и деревень
На жизненном пути.
Села, где встречен первый день,
Другого не найти.

Есть много женщин, всех не счесть,
И не назвать имен,
Но среди них одна лишь есть,
Что матерью зовем.

Есть много стран, чужих земель,
Но нам с тобой дана
Отцов и предков колыбель —
Родная сторона.

П. БЕРНГАРД

ВЕЧЕР

Кругом простор И вечер синий тих.
На землю сумрак сходит тенью.
Я отдаюсь блаженному смятенью
И весь во власти новых чувств своих.

Твоей руки касание одно
Суровость слов опровергает.
Мой взор в лице твоем читает,
Как дивно Богом создано оно.

Идем мы ровно, в ногу . . . Мира нет,
Он в дали канул безнадежной . . .
Луч фонаря случайный, нежный
Твоей улыбки выдал свет . . .
И я постиг, что дивен мир безбрежный . . .

ИВАН БУНИН

ПОЗДНИЙ ЧАС

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь или никогда. Надо пользоваться единственным и последим случаем, благо — час поздний, и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как-будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако, о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее просто старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на раскрытые, но спящие золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и Суэцком Канале, и на Неве. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное — русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорьи, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку, и ты сжала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени; поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, не сводившего с пожара расширенных глаз, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья — и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой. В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня, давая мне чувство юности, легкости. Я шел — большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени — только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару — он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад: каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе; все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний — и не мог: Да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только не-

много уже и длиннее, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно, как всюду. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны белые запыленные дома захолустных купцов, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше бы итти срединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было итти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком. — Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат — все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь; давно ли начинали и они, в душе уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости.

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволение, это высокое, сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запускает колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора, вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком — одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара по Монастырской — к выезду из города.

Базар как-бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над срединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бегут, женственно, щепотко, виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.

Монастырская улица — пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим, — в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его угольного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на угольном покрове столика лист бумаги в угольной кайме — на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с угольным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно-вы-

резанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми угольными султанами — перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженый в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: — Requiem acternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis — тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.

На выезде, справа от шоссе, монастырь времени Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и так немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых и крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу — светлые и темные пятна, все пестрившие под деревьями, спали. Вдали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло — с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня — я, вне себя, шарахнулся в сторону — вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло. Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо итти, я шел все прямо по проспекту — и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.

Иван Елагин

* * *

Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча.
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча.

Все пугают огнем да газом —
Нос не высуни из норы!
Лучше б бомбы и газы разом,
Да и к прадедам в тартарары!

Милый ад: ни пушек, ни ружей . . .
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной?

* * *

О снег врасплох! О гибельный набег
На провода, на ярусы фасада!
Как негодует сад! Но снег и снег —
Он день и ночь идет на приступ сада.

Уже сугробы тяготят карниз,
Уже завязли и в снегу по пояс
И ель, и вяз . . . Он глыбами навис,
Между ветвями царственно покоясь.

Вплотную к окнам жмется синий пласт.
Еще вершок — и форточки засыпит!
Нет, ласточке не улететь в Египет,
И все до тла Счастливый Принц раздаст.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

Баронесса

(Отрывок из романа «Осень на Ривьере»)

Когда кретоновая, в крупных пестрых цветах, портьера, заколебавшись, скрыла за собой небольшую энергичную фигуру баронессы, Катерина Александровна оглянулась. Комната была велика и почти роскошна. Середину ее занимала широкая низкая кровать светлого дерева, застланная пестрым с широкими воланами покрывалом. В трехстворчатом до полу зеркале отражались великолепные желтые гвоздики, подобранные под тон занавесей и обоев. Сбоку дверь вела в туалетную комнату и ванную, выложенную мрамором. В окне был круглый, усыпанный серым гравием двор, обсаженный по забору кустами мимозы.

Катерина Александровна сделала несколько шагов и остановилась. В такой роскошной комнате она уже давно не жила. Она забыла, что можно т а к жить, с таким количеством пространства для себя одной, с таким блестящим паркетом, с такими коврами и мраморными ваннами. Вообще вилла баронессы поразила ее. Когда этой весной баронесса, уезжая из Парижа на юг, пригласила ее на осенние месяцы в свою виллу в Канны, ей и в голову не пришло подумать о том, какая может быть эта вилла.

У самой Катерины Александровны уже давно не было дорогих привычек. В далеком прошлом, в другой московской жизни, которая теперь казалась ей виденной во сне, она была генеральской дочерью, и фотография их дома была напечатана в книге Грабаря, как образчик одного из самых стильных домов Москвы. Потом Катерина Александровна была замужем — недолго, муж ее был убит в Японскую войну — потом певицей и профессором пения. Но от этого прошлого остался у нее только юбилейный бриллиантовый значок, поднесенный ей ученицами, который она надевала только в особо торжественных случаях: на экзамены своих учеников и на большие концерты. В Париже, куда занесла ее эмигрантская судьба, жила она со своим старым другом и домоправительницей, Софьей Михайловной, восемнадцать лет, привыкла к своему кварталу и почти никуда из него не выходила. На летние каникулы уже много лет никуда не ездила, всякой даче предпочитая пустой летний Париж с сидящими у парадных дверей консьержками. «Зачем мне дача? У меня тут Булонский лес под боком. Куда мне еще ехать?» — говорила она.

Однако, за последнее время она стала чувствовать,что устала и засиделась, и потому, когда одна из ее богатых учениц, баронесса Б., предложила ей приехать на август и сентябрь на ее виллу в Каннах, с тем, чтобы давать ей каждый день урок и за это жить на всем готовом, она посоветовавшись с Софьей Михайловной, согласилась. В июле в Париже начинался мертвый сезон, и почти все ее ученицы до октября разъезжались. Кроме того, на Ривьере она никогда не была, и южное солнце соблазняло ее.

Все это привело к тому, что в одно жаркое августовское утро Катерина Александровна вышла из вагона второго класса на перрон Каннского вокзала, где встретила ее сама баронесса в простеньком полотняном платье и без шляпы. Ее небольшие серо-голубые глаза сияли оживлением и удовольствием.

— Вот и отлично! Как я рада! Я уже соскучилась по нашим урокам, — восклицала она, пожимая своей сильной энергичной рукой руку Катерины Александровны. Пойдемте. У меня автомобиль.

Правила она сама. Четырехместный элегантный автомобиль пронес их по ярко освещенной утренним солнцем набережной. Море, как голубой шелк, лежало в песочно-серой луке залива. Пальмы, пляж, пестрые фигуры купальщиков, как какое-то райское видение, мелькнули в глазах Катерины Александровны. Через минуту автомобиль уже заворачивал в одну из коротких улочек почти у конца мыса.

Вилла баронессы поразила Катерину Александровну прежде всего своей претенциозностью. Она из всех выделялась своим цветом рябиновой пастилы и кубистическими линиями. Тут были какие-то неожиданные прямые плоскости, какие-то углы и закругления, что-то напоминавшее Катерине Александровне слова «конструктивизм», «футуризм» и постановки Мейерхольда. Неожиданно высокая и крутая мраморная лестница подымалась к тяжелым чугунным дверям,перед которыми бронзовые кобры, стоя на хвостах, держали в пастях матовые шары. Холль был весь из черного и белого мрамора, и высокое окно на уровне второго этажа пропускало внутрь

смягченный солнечный свет.

— Эту виллу строили по специальным рисункам, — сказала баронесса. — Не правда-ли — оригинально? Мне надоел этот вечный провансальский стиль.

— Боюсь, жизнь здесь будет не по мне, — думала Катерина Александровна, раскладывая принесенные ей лакеем в белой накрахмаленной куртке, чемоданы. — Ну, да ведь не навеки же я здесь.

Она разобрала вещи, поставила на письменный стол карточки родителей и покойного мужа, собрала умывальные принадлежности и пошла в туалетную комнату. Гладкое блестящее зеркало отразило ее сухощавое лицо с коротко подстриженными седеющими волосами и чуть прищуренный утомленный взгляд близоруких глаз.

— Тут надо больше следить за собой, — подумала она. — Постарела я, что и говорить — постарела . . .

☆

Завтракали в столовой, одна стена которой представляла собой сплошное окно, перекрещенное вуалевыми занавесами. За занавесами грациозно рисовался мощный силуэт великолепной итальянской пинии. Несмотря на горячий полдень, в столовой было почти прохладно. Стол тоже был из мрамора, только темно-красного. Скатерти не было, но под каждым прибором лежала четырехугольная кружевная салфетка. Помимо этого стола, мебели в столовой почти не было, кроме небольшого буфета да высоких английских часов в футляре в углу.

Завтрак был легкий, но вкусный и к нему подавалось хорошее красное бордо. Баронесса была очень оживлена, без умолку говорила, строила планы будущего концерта в Париже. Кроме нее за столом сидела ее дочь, четырнадцатилетняя Ариана, ясноглазая, светловолосая с такими длинными загнутыми вверх ресницами, какие бывают только у кинематографических актрис на экране. С ней сидела ее гувернантка, скромная, средних лет русская дама.

— Моя Ариана учится пока дома, — сказа баронесса, знакомя Катерину Александровну с дочерью. — Я еще не решила, что она будет делать дальше. Пока она ходит в балетную студию Карсавиной. Пусть учится. Это ей во всяком случае не помешает.

Уроки пения начались в тот же день. Сидя за роялем — великолепным концертным Стенвеем — и слушая, как баронесса поет упражнения, Катерина Александровна думала о том, почему такое богатство досталось именно этой женщине. По рождению она была балтийская немка, ни красотой, ни особым шармом не отличалась. Красивыми у нее были только глаза, серые, особенно лучившиеся, когда баронесса смеялась. В общем же что-то в ее лице напоминало чижа — нето острый шустрый нос, нето манера высоко держать подбородок и голову немного набок, как будто она всегда к чему-то прислушивалась. Голос у нее был большой, но с резким неприятным тембром. Правда, она была очень музыкальна, кончила в Риге консерваторию и свои романсы и арии учила с необыкновенной быстротой. При этом отличалась чисто немецким упорством и усидчивостью, и Катерина Александровна знала, что уж эту ученицу понукать ей не придется.

Да, шарма в ней самой и в ее пении было мало, и вот все-таки она два раза была замужем, и оба раза за очень богатыми людьми. Говорили, что первый муж оставил ей большое состояние, а от второго, балтийского барона, у нее родилась эта прелестная девочка с такими длинными ресницами и ласковыми лучистыми глазами.

«Ich träumte von bunten Blumen» —

стоя посреди комнаты, вся облитая горячим солнечным светом, старательно пела баронесса, и, машинально следя за тактом, Катерина Александровна не могла удержаться от того, чтобы не ловить недостатки ее лица и фигуры: слишком расставленные короткие ноги, вульгарную посадку головы, жилистые крупные руки, крепко держащие белый нотный лист

☆

Со следующего дня жизнь ее определилась. Кофе по утрам пила она одна или с Арианой в столовой, потом выходила на короткую прогулку к морю — оно горячим серебром играло в конце их маленькой улицы. В этот утренний час серая набережная была почти пуста: большие барские виллы в запущенных пиниевых садах казались спящими — жалузи в них были спущены. Хозяева их жили в это время года где-нибудь на океане. Катерина Александровна скорым шагом доходила почти до конца мыса, где садилась на скамейку. Тут набережной больше не было, и море неслышно рылось внизу в высоких, нанесенных волнами грудах водорослей. Мальчишки в трусиках лазили по высовывавшимся из воды черным камням, ища крабов. Позади была вся крутая лука залива с его набережной, усаженной пальмами, и нарядной белой стеной больших отелей, блестевшей на солнце. Катерину Александровну, долгие годы жившую в Париже и привыкшую к его серому цвету, поражала эта вечная праздничность и разноцветность. Несмотря на жару, она продолжала ходить в костюме с длинными рукавами и в нитяных белых перчатках. Черные городские туфли ей все же пришлось сменить на белые парусиновые, купленные тут же в Каннах, но чулок она упорно не снимала, находя это для себя неприличным.

К десяти часам она возвращалась, и они

часа полтора занимались с баронессой. Потом баронесса уходила одна или с Арианой на пляж, а Катерина Александровна шла к себе в свою уже чисто убранную, неизменно радовавшую ее своими веселыми красками комнату, брала книгу и садилась в кресло у окна. Но читала она недолго. Ее все занимало. В Париже ей некогда было думать или даже просто останавливаться на явлениях жизни вокруг. Здесь ей невольно приходилось смотреть, замечать, наблюдать и думать об окружающем.

Поражал ее прежде всего строгий порядок в жизни этой роскошной нелепой виллы. Прислуги в доме было немного: садовник, лакей Семен и горничная — она же кухарка. Однако, уже в 10 часов холль блестел чистотой, ковры — свежими красками, в вазах стояли свежие цветы. О хозяйстве говорилось мало, но из случайных разговоров за столом Катерина Александровна узнавала, что баронесса за всем строго следила и всегда все знает.

Знакомых у баронессы было много, но это были совсем не те люди, к которым привыкла Катерина Александровна в эмиграции. Об эмиграции и эмигрантской жизни здесь вообще никогда не говорили, хотя баронесса считала себя русской и часть учителей Арианы была из русских эмигрантов. Бывали у нее люди разных национальностей, но все они были объединены чем-то общим — внешней вычищенностью, подтянутостью, бодростью и внутренней пустотой. Парижские знакомые Катерины Александровны особой содержательностью не отличались, но когда собирались, говорили о редких приезжих из России, о церкви — вернее о церквах, так как неизменно при этом спорили о двух церквах — российской и эмигрантской, — о судьбах разных людей и порой о какой-нибудь прочитанной книге. Здесь ни о чем подобном не говорили. Сколько ни старалась потом Катерина Александровна вспомнить что-нибудь из разговоров людей, сидевших с нею за столом, ничего существенного вспомнить она не могла. Говорили о вчерашнем бридже, о коктейле в Мирамаре, о том, где лучше покупать засахаренные фрукты — в Ницце или здесь у Мэффрэ. Баронесса делала проекты о покупке куска берега — для того, чтобы иметь свой собственный пляж для купанья, или говорила о необходимости перевезти часть мебели из своей парижской квартиры. С Арианой умела она говорить каким-то особенным дружеским и в то же время авторитетным тоном, называя ее ласкательными именами и в то же время держа на некотором расстоянии от себя — и Ариана ее обожала. Баронесса поощряла ее дружбу с дочерью ее учительницы, бедной эмигрантки, дарила ей старые платья, иногда посылала коробку конфект, и умела говорить сама с пришедшей за деньгами скромной швеей так, что у той пропадал голос от смущения и она уходила так и не осмелившись напомнить о месячном долге в двести франков.

*

Баронесса была по природе трезва, суха, деловита, во всем, что не казалось ей необходимым для себя, скупа, и в жизни соблюдала строгий порядок и дисциплину.

Но вскоре Катерине Александровне пришлось увидеть в ее характере и нечто иное. Причиной этого был Наркевич.

Наркевич был недавно появившийся в Каннах талантливый пианист — русский американец, очень богатый — говорили, что он был тайно женат на совсем старой женщине — бледный, изящный, еще молодой, ему было не больше 34—35 лет. Баронесса познакомилась с ним на каком-то коктейле и сразу же пригласила его к себе. Она много говорила с ним о музыке, соглашалась с ним, что здесь, на Ривьере, нет настоящей музыкальной жизни и вместе с ним восхищалась музыкальной культурой Германии.

Бледность Наркевича, его нервность, какая-то незаконченность в выражении лица нравились ей так же, как его безукоризненные костюмы, зелено-голубой Бьюик, которым он правил сам, и белый полотняный шлем, делавший его похожим на авиатора.

Очень скоро после его появления жизнь на вилле превратилась в серию разнообразных празднеств и развлечений. Одним из первых таких празднеств был день его рождения, который баронесса захотела отпраздновать у себя, ссылаясь на то, что Наркевич жил в отеле и семьи у него не было. В этот день на вилле предполагался роскошный ужин, должна была петь известная шведская певица и Ариана танцовать русскую и поднести Наркевичу кондитерский торт, на котором вылит был из шоколада маленький рояль — сюрприз, задуманный баронессой.

С утра Семен с двумя другими, нанятыми на этот день лакеями, расставлял в холле столы, оставляя всю середину пустой. В столовой стол уставлялся блюдами с холодными закусками: омарами, индейкой, заливной курицей, различными салатами. Днем был привезен ящик шампанского, фрукты и сладости. В восемь часов вечера холль был ярко освещен, полон народу, и баронесса, в каком-то необыкновенном, гранатовом, со стоящими у плечей крылышками из розовых страусовых перьев, платьи, сияя от возбуждения, встречала приглашенных. Наркевич, особенно бледный и изящный в прекрасно сшитом смокинге, чувствовал себя, видимо, несколько неуверенно и старался скрыть это за видом особой серьезности, с которой говорил с местным музыкальным критиком.

В начале девятого приехала приглашенная певица: высокая, стройная женщина, выделявшаяся статностью фигуры и романтически

благородным профилем старинных северных саг. Ее познакомили с Наркевичем, который сейчас же с увлечением заговорил с ней по-немецки, и оба погрузились в перебирание знакомых обоим имен музыкального мира. Баронесса, очень довольная, оставила их вдвоем и сама прошла в открытый в этот день бар — маленькую полукруглую, таинственно освещенную комнату между столовой и музыкальной, где празднично озабоченный и возбужденный Семен, возвышаясь над стойкой в своей белой накрахмаленной куртке, наливал желающим коктейль и аперитивы. «Ну, как, все в порядке?» — глазами спросила его баронесса, и получив такой же безмолвный утвердительный ответ, поспешила дальше. Она была довольна собой в этот вечер. Тайный инстинкт говорил ей, что надо действовать на душу Наркевича по двум направлениям: на его славянскую тягу ко всему безудержному, затягивающему, погибельному и на вновь привитую ему на западе склонность к постоянной работе, культуре и самодисциплине. Что больше удастся, она пока не знала и готова была в любую минуту переменить тактику. Но пока важно было завладеть им.

В половине девятого — все приглашенные уже съехались — по ярко освещенным комнатам прошел смутный шум и тотчас стал утихать: на середину музыкальной быстрым легким шагом вышла и подошла к роялю, за который уже сел аккомпаниатор, приезжая певица . . .

☆

За столом соседкой Катерины Александровны оказалась молодая женщина немного цыганского типа, с темными, чуть вьющимися волосами, просто собранными сзади в небольшой узел, с чем-то чуть оливковым в цвете лица. Катерина Александровна невольно обратила внимание на то, что она была нето рассеяна, нето опечалена чем-то. После нескольких неудачных попыток завязать с ней разговор, она перестала обращать на нее внимание, решив, что соседка ее просто не в духе.

Столы были расставлены по трем задним стенкам холля так, что вся середина его и пространство, обращенное к входным дверям, оставались свободными, образуя собой, как бы сцену. Во время дессерта, когда по столам разносили норвежское суфлэ, на балконе, шедшем вокруг всего холля на уровне первого этажа, вдруг вспыхнул прожектор, освещая середину зала. «Что это?» — оглянувшись спросил, сидевший за центральным столом Наркевич.

— А это мой сюрприз! Ариана будет танцовать русскую, — громко, довольным голосом сказала баронесса, сидевшая на конце того же стола.

Из открытой двери музыкальной раздались звуки русской, и почти тотчас же с лестницы, ведущей с верхнего этажа, сбежала маленькая бело-голубая фигурка в кокошнике и фате. Очутившись на середине холля, она остановилась и отвесила низкий поясной поклон.

Ариане было едва пятнадцать лет. Она была довольно велика для своего возраста, светловолоса, в лице ее неожиданно проялялось какое-то славянское наследство — чуть выдавались скулы. Она была трогательно мила в своем голубом атласном сарафанчике, и расшитом цветными камнями кокошнике, с которого спадала ей на плечи белая фата. Танцовала она по-детски старательно, видимо всеми силами стараясь не потерять такта, и от этого немного связанно. Но истинно прелестным в ней была мимика. Видно было — она исполняла данные ей указания, но эти давно истертые банальные выражения улыбки, раздумья, грусти в этом молодом, почти еще детском лице приобретали какое-то совсем новое, очаровательное значение. Когда она, остановившись, прижав пальчик к губам, чуть хмурясь, как бы задумалась, потом вдруг встрепенувшись просияла улыбкой и стала манить кого-то воображаемого из толпы, личико ее было так восхитительно, что самые равнодушные не выдержали и стали апплодировать ей.

Ариана, кланяясь, сияя от радости, покачала головой, давая знать, что еще не кончила, скользнула к дверям вбок, где ей откуда-то сзади подали большое блюдо с тортом. Она торжественно выступила с ним вперед и, подойдя к центральному столу, с низким поклоном подала его сидевшему прямо против нее Наркевичу.

Наркевич, очень смущенный встал, не зная, что делать, держа в руках блюдо с тортом, на котором был вылит из шоколада маленький, мастерски сделанный рояль, неловко нагнулся и поцеловал сияющее от удовольствия и возбуждения личико девочки. Баронесса, тоже вся сияя, подозвала дочь и нежно притянула ее к себе.

— Ну, умница, умница, не подвела меня! — сказала она, беря ее за подбородок и любуясь ею.

О. АНСТЕЙ

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

☆

Звезды шевелятся в небе сыром,
Облако встало огромным бугром,
Тени качаются, капли звенят . . .
Камень молчания снят.

Этот журчащий, поющий ледок,
Талой луны голубой ободок,
Это тепло . . . Эти огни . . .
Остановись. Вздохни.

Боже лучей незакатного дня,
Боже мучений, Боже огня . . .
Всю эту боль я блаженно вберу,
Стоя на черном ветру.

Вытерплю, Боже, до смертной черты
Радостный ужас Твоей красоты,
Песней бездонной на тающем льду
Вся изойду.

☆

23 апреля 19...

Георгиевской Церкви

С чистых плеч твоих главы отъяты,
Наги стены, упали кресты.
Страстотерпица страшной утраты,
Именинница горькая ты.

Но каштаны, густые на диво,
Над тобою сомкнули листье
И как волосы — лэди Годиву,
Поруганье закрыли твое.

☆

В мокрой земле — обещанье травы.
Дни исполнения, яростны вы.

Почке багровая шкурка тесна.
Что заленилась, хозяйка-весна?

Эй, за мочалку! Водой-сулемой
Черные щеки асфальта умой,

Чтобы с горы, как живое стекло,
Стройно гудя, половодье текло.

Нет, не сберечь возведенных основ,
Нет, уж теперь не до праведных снов . . .

Только — под ропот строптивой струи —
Ветер, да голос, да веки твои.

Только в лицо отреченью смотреть,
Смутой твоей безбережной гореть,

Только вдыхать, приникая едва,
Каждую грань твоего существа.

☆

О чем ты молишь, уязвлен?
Я исцелений не готовлю.
Зачем ты заришься на клен —
Прощаний ветреную кровлю?

Давно в заветном сквере снег
Сравнял греховные тропинки
И на скамью осенних нег
Легли студеные снежинки.

☆

Сойди, апрель, как ангел к Деве.
Сойди на исхудалый наст,
Где на сереющем пригреве
Дубок понур и голенаст.

Где зори на краю оврага
Как вздох протяжны и светлы —
Пролейся ростепельной влагой
В сухие ложесна ветлы.

БОРИС БАШИЛОВ

В моря и земли неведомые

(Отрывки из исторической повести)*)

МАРТЫН ШПАНБЕРХ

Мартын Шпанберх, командир вояжа на землю Япон и землю Жуана де-Гамы, таинственные берега коих не давали покоя европейским мореходам, всю ночь бессонничал, писал перед выходом в океан письма в Санкт-Петербурх. Плохо очиненное гусиное перо обрызгало написанное до половины письмо тушью. Мартын Шпанберх выругался, стал зачинять новое перо.

— «Проклятая английская камбала! Как поговоришь с ним, целые сутки руки трясутся.»

Вечером Мартын Шпанберх прежестоко поспорил с командиром шлюпа «Святой Михаил» Вильямом Вальтоном. Мартын считал, что земля де-Гамы есть мираж бойкого французского ума Жозефа Мартына Делиля. Вильям же Вальтон верил, что земля де-Гамы и Компании подлинно существует.

— «Коли Российским Сенатом повелено идти к тем землям, повинуясь долгу, пойдем», — придя в ярость, вскричал вспыльчивый Шпанберх. — «Но я не только перед целым светом, но на страшном суде готов утверждать, что в дурачества господина Жозефа Мартына Делиля, хоть он и первейшим географом французского короля счастье быть имеет, не верю.»

— «Может быть, господин Делиль и неправ, и земля Гамы есть выдумка дона Жуана де-Гамы», — тихо отвечал спокойный всегда Вильям Вальтон. — «Но разве вы бывали в тех местах, что утверждаете, что данной земли нет?»

Мартын Шпанберх злобно взглянул на Вальтона. Невозмутимость англичанина выводила его из себя. «Проклятая английская камбала», как звал про себя Вальтона Шпанберх, как казалось ему, нарочно злил его своим рыбьим спокойствием.

— «Посмотрю я, что вы осенью скажете», — прорычал Шпанберх, ударив медным шандалом по краю стола.

Вальтон с усмешкой взглянул на кинутый Шпанберхом в угол погнувшийся шандал.

— «Истина, господин капитан, жестокосердная богиня. Она, как Бабилонский Молох, беспрерывно требует себе великих жертв. На то и существуют мореплаватели, чтобы, жертвуя временем и трудами своими, распутывали гипотезы, созревающие в умах географов. Кроме того вам, господин капитан, несомненно ведомо, что у капитан-командора нашего, Витуса Беринга, был однажды в руках подлинный Шканечный журнал голландского брига «Кастрикум», в котором подробно описана земля Жуана де-Гамы, а також земля Компании, открытая оным бригом.

— «Все это пьяные бредни голландских скотов, которым всюду мерещатся летучие голландцы и новые земли!»

Вильям Вальтон не стал дожидаться новой ругани и, пожелав Шпанберху спокойной ночи, вышел из избы.

Шпанберх пхнул ногой попавшийся под ноги шандал, вынул из стола копию карты, черченной Жозефом Делилем, стал рассматривать ее. Хоть он и заявил Вальтону, что готов даже на страшном суде свидетельствовать, что земли Гамы не существует, но сказано то было только от духа сопротивления. В душе же жила тайная надежда, что в этот вояж земля Гамы, полная сокровищ, по словам голландских мореходов, будет обретена. И имя его, Мартына Шпанберха, станет известно всем мореходам мира.

Имя Дон Жуана де-Гамы мало кому ведомо, и неизвестно, доподлинно ли был такой мореплаватель. Да, но как не верить Витусу Берингу, который утверждал на Конзилии в Охотске, что во время службы у Ост-Индской компании, ему пришлось держать раз в руках подлинный Шканечный журнал брига «Кастрикум»?

Господа космографы, сие ведомо всем, весьма изобильны на мифы о неведомых морях, и берега неоткрытых земель всегда чудятся им из золота и самоцветов. Но Витус Беринг не похож на легковерного мечтателя. Неужели он стал жертвой мошенника, выдавшего себя за капитана брига «Кастрикум» Де-Бриза?

Шпанберх пододвинул поближе второй медный шандал с огарком сальной свечи, стал рассматривать карту. К востоку от Камчатки Жозефом Делилем и его братом, профессором астрономии, зачисленным в экипаж пакетбота «Святой Павел», Людовиком Делилем, был нанесен огромный остров.

---

*) Историческая повесть Б. Башилова, несколько глав из которой мы печатаем с разрешения автора, вышла в свет в издательстве „Юность".

Курильские острова подходили к неизвестной земле Генеральных Штатов. Между землей Компании и мысом Мендоссине в Калифорнии, был начерчен отысканный Жуаном де-Гама земной рай, изобилующий сокровищами, остров Фортуны или земля Гамы. На севере, резким клином вдаваясь в море, был нанесен огромный арктический материк, подходивший на юге к Америке, открытый, будто бы, испанским адмиралом де Фонте.

Все сие было столь заманчиво! Но как было верить карте, на которой не было нанесено несомненной истины — пролива, разделяющего Азию от Америки, по коему проплывали из Ледовитого моря в Восточный океан казаки, как то явствует из найденной Гергардом Миллером в Енисейске сказке сибирского казака Семейки Дежнева.

Шпанберх неистово чертыхнулся; свернув карту, сунул ее в стол.

— «Воистину, что один географ напутает, старым мореплавателям не под силу распутать!»

Очинил гусиное перо, стал продолжать письма.

ВИЛЬЯМ ВАЛЬТОН И АЛЕКСАНДР ШЕЛЬТИНГ.

На рассвете геодезист Тимофей Соловьев съехал на ялботе бригантины на берег и, с двумя казаками, выехал немедля на лошадях через горы к Тигильскому острогу.

Матросы и гренадеры старались выпытать у Михайлы Тетерина, о чем говорил с ним нарочный от Алексея Чирикова. Тетерин отвечал им, что геодезист расспрашивал его про лиходейства беглого монаха Игнатия Козыревского на Курильских островах и Камчатке. Матросы и морские гренадеры не верили, недоверчиво усмехались.

Не прошло и часу после отъезда Соловьева из Большерецка, как Тетерина позвал к себе в каюту Мартын Шпанберх. Он был против обыкновения ласков. Угостил не скупясь водкой из травы кутагарник, спросил Михайлу, зачем был прислан Чириковым геодезист, о чем он вел с ним тайную беседу.

Тетерин рассказал Мартыну Шпанберху то же, что говорил матросам и гренадерам.

— «А зачем капитан-лейтенанту Чирикову этот беглый монах понадобился?» — недоумевая спросил Шпанберх, поверив в сложенную Тетериным и Соловьевым заодно басню.

— «Этого я, господин капитан, не знаю. Думаю, может, Игнатий Козыревский опять где на Камчатке или на берегах Ламского моря объявился и, следуя своему воровскому нраву, мутит ясачных людишек.»

Мартын Шпанберх наморщил лоб, долго думал о чем-то.

— «А не спрашивал он, почему в первый вояж мы не разведали остров Фортуны?

— «О том речи не было.»

— «Вел ли он речь, что командирами ходивших в вояж кораблей не было проявлено нужное тщание и старательность в вояже? Не спрашивал, почему вернулись, не отыскав, как то было повелено Российским Сенатом, земли Фортуны и островов, на которых находится Японская держава?»

— «Об этом тоже не спрашивал.»

Мартын Шпанберх встал, походил по каюте, повеселел, налил Тетерину еще кружку водки, сказал:

— «Ну, что же, верю тебе, Михайло! Но ежели, вернувшись из вояжа узнаю, что об ином с геодезистом говорил, пожалеешь. От предков своих — скифов переняли вы все лукавство и хитроумие. Взяв веру же от Византии, отгородились ею от Европы, как китайцы своей великой стеной от монголов. Ко всем стараниям просвещенных европейцев — вытащить вас из невежества и дикости, отвечаете нелюбовью и подозрением. Таковы все вы, от знати своей до последнего простолюдина. Таков и Алексей Чириков, считающий, что ежели бы во главе затеянной по предсмертному завету государя Петра экспедиции не было иностранцев, и земля Фортуны и Япония давно уже были бы найдены российскими мореплавателями. Таков и ты, Тетерин! Все такие! Все считаете, по великой гордости, что Бог создал вас не хуже, чем нас. Но вы суть упрямые в своих заблуждениях азиаты, неизбежно обреченные на гибель под пятой просвещенного Запада. Иди, но помни: ежели я узнаю, что ты утаил от меня, о чем толковал с приезжавшим из Охотска геодезистом, я найду с тобой способ разделаться.»

Пробираясь в кубрик и вспомнив необычную ласковость «Каторжного Капитана», Михайло Тетерин усмехнулся про себя, подумал: «Тоже, шведская крыса, голубем ворковать вздумал! Думал, что за кружку водки со всеми потрохами вместе с душой купишь. Вера вишь неправедная, азиаты мол! А как со своей праведной верой линьками за пустяковины семнадцать человек матросов да гренадеров на тот свет отправил — забыл? Любви вишь к себе захотел? За што тебя, свейского дьявола, любить и душу тебе открывать? За то, что у всех матросов спины линьками исполосованы, да счет потеряли, скольким ты зубы повыбивал? Отъелся на российских хлебах, да и стал всех азиатами крестить. Хватит с тебя и побасенки об Игнашке Козыревском, ярыжка свейская!»

Утро было солнечное, тихое. Как пробило восемь склянок, Мартын Шпанберх вышел из каюты, приказал Михайле Неводчикову съездить на ялботе на «Святого Михаила» и «Святого Гавриила», вызвать Вильяма Вальтона и мичмана Шельтинга.

— «Что репортовать им прикажете?»

— «Скажешь капитану Вальтону и мичману Шельтингу, чтоб ехали без промедле-

ния на бригантину. После полудня выйдем в вояж.»

В каюте Вальтона Неводчиков застал и командира «Святого Гавриила», розовощекого, худощавого мичмана Александра Шельтинга.

Вильям Вальтон взглянул на вошедшего в каюту Неводчикова, равнодушно, словно увидел дерево, отвел глаза, сказал по-английски Шельтингу:

«Насчет того, что Витус Беринг не обладает качествами, необходимыми руководителю столь грандиозной экспедиции, задуманной царем Петром, я, дорогой Александр, согласен. Витус Беринг сильно одряхлел за последние годы. Впрочем, если бы он был и моложе, то он все же не годился бы для роли командора столь грандиозного предприятия. Он, когда был и более молод, всегда отличался многомыслием и нерешительностью. Он не принадлежит к числу тех, из рядов которых выходят великие мореплаватели, как Колумб и Магеллан. Он постоянно сомневается в правильности предпринятого им. У него нет твердой воли. Нет же худшего порока для мореплавателя нежели нерешительность. Капитан-командор обладает ею в избытке. В своем первом плавании к неизвестным берегам Америки он ничего не добился потому, что руководствовался, как и всегда, словами оды Горация: «Если ты не хочешь сделаться игрушкой ветров, берегись!» Следуя же этому изречению Горация, трудно открыть неизвестные земли в неизвестных морях! Особенно же в морях арктических, где пловучие льды, неизвестные рифы, туманы и ветры на каждом шагу подстерегают мореплавателя.»

Александр Шельтинг усмехнулся.

— «В ваших словах, дорогой Вильям, много истины. Но нельзя забывать того, что задача возложенная Российской Адмиралтейств-Коллегией на плечи Витуса Беринга, непомерно тяжела. Трудности, которые стоят перед Берингом, величественны. От Санкт-Петербурха до Охотска 11 тысяч верст дикой страны, населенной племенами дикарей. Русские селения отстоят на сотни, а часто и на несколько сот миль друг от друга. На Камчатке и берегах Ламского моря всего только несколько русских военных поселений, окруженных девственными лесами, высокими горными хребтами, в которых обитают враждебные к русским племена воинственных дикарей. Разве можно, дорогой Вильям, забывать, что каждый якорь, каждый топор, канаты и даже парусину для парусов приходится привозить на лошадях, оленях и собаках за тысячи верст?»

— «Да, Александр, вы правы. Но не забывайте, что все эти трудности еще более усиливаются нерешительностью капитан-командора.»

— «Да, но следует помнить также, и то, что, сидя в Охотске, Витус Беринг должен руководить и другими морскими и сухопутными исследовательскими отрядами, разбросанными по всему побережью Ледовитого океана, от Белого моря до устья Лены и Колымы.»

— «Минуту тому назад вы сами, сэр, совершенно справедливо заметили, что такой грандиозной экспедиции не видал еще свет.»

Вильям Вальтон поморщился.

— «По замыслу это, конечно, одно из самых грандиозных географических исследований, предпринятых когда-либо. Но еще не известно чем все это окончится. У нас в Англии говорят, что «лучше спокойно кататься на осле, чем быть сброшенным с лошади». Русские же никогда не дают труда себе подумать, что лошадь, на которой им захотелось проехаться, обладает строптивым характером и они могут внезапно оказаться лежащими на земле с разбитым черепом и переломанными костями.»

Михаил Неводчиков, стоявший у дверей, кашлянул.

Вильям Вальтон повернулся к нему, отрывисто спросил:

— «Что тебе надо?»

— «Капитан Шпанберх приказал передать вам, чтобы вы и мичман не медля ехали на бригантину. После полудня выходим в океан.»

— «Можешь идти.»

Неводчиков отдал честь, вышел из каюты.

Вильям Вальтон снова повернулся к набивавшему табаком трубку Шельтингу, продолжал прерванный разговор.

— «Я дольше, чем вы, дорогой Александр, живу в России и лучше, чем вы, изучил характер русских. Это очень странный народ. Они несомненно не лишены некоторого ума, им нельзя отказать в известной храбрости, но по духу своему они полу-азиаты, и думаю, что таковыми они останутся навсегда. Они живут не умом, а сердцем. А поэтому у них нет будущего. Они не способны обуздывать разумом своих желаний и страстей.»

— «Мне кажется, дорогой Вильям, что вы не принимаете в расчет одного серьезного обстоятельства», — бросая трубку на пепельницу сказал Шельтинг.

— «Что это за обстоятельство?»

— «Вы не учитываете своеобразия исторического прошлого русских. Им пришлось выдержать бесконечные войны с набегавшими из глубин Азии беспрерывно, подобно волнам, ордами кочевников. Они приняли на себя главные удары полчищ Чингис-Хана и Тамерлана, и этим спасли Европу. Около трех веков они были под игом монголов, и не только не отказались от своей веры и своих обычаев, но, разорвав спутывавшие их монгольские цепи, возникли снова полные жизни, как апокрифическая птица Феникс из пепла.

— «Вы ошибаетесь, Александр», — едва заметно улыбнувшись, покачал головой Вальтон: — Этот народ не Феникс, а исторический

пепел, который ходом истории будет неизбежно развеян, исчезнет бесследно, не совершив ничего достойного памяти и уважения последующих поколений.

— «А мне кажется, дорогой Вильям, что вы страдаете обычной болезнью европейцев в оценке других народов. Всех, кто отличается от нас по своей истории, вере, внешности и обычаям, мы очень легко возводим в варваров и ставим на них крест. В своем отношении к людям другой расы мы, европейцы, нисколько не продвинулись вперед по сравнению с греками, жившими до Гомера. У древних греков слово, обозначавшее чужеземца, одновременно обозначало врага и варвара. Мы — христиане, но скажите, Вильям, чем мы отличаемся от греков, живших до Троянской войны? Чем, сэр? Семнадцать веков, прожитых в христианстве, ничему не научили нас. Мы не умеем быть справедливыми к другим народам. Кто из современных европейских историков любит вспоминать, что государство, созданное в течение двух веков киевскими князьями, не уступало по своим размерам империи Карла Великого? Что перед войсками киевских князей, трепетали императоры Византии, государства более просвещенного, чем тогдашняя средневековая Европа? А что мы знаем о культуре этого могучего славянского царства? Для европейцев прошлое этой страны так же неизвестно и таинственно, как и остров Фортуны, на поиски которого сегодня мы выйдем в просторы Тихого океана, не посещенные еще никем из европейских мореплавателей.»

— «Я вижу, дорогой Александр», — иронически улыбаясь, проговорил Вильям Вальтон, — что разговоры, которые вы этой зимой вели в Охотске с капитаном Чириковым, Степаном Малыгиным и Абрамом Дементьевым, оказали на вас сильное влияние, и что одним московитом стало больше.»

— «Нет, я остаюсь самим собой, но то, что я узнал от них, заставило меня относиться более справедливо к русским. Вы относитесь к ним с презрением, которого они не заслуживают. Они только сейчас начинают просыпаться от многовекового сна, которым они спали при монголах и после монголов, с подозрением смотря на исповедующие католичество и протестантство европейские народы. Да, они обладают совершенно другим характером, чем мы. Там, где мы предпочтем сесть на осла, они не боятся сесть на дикого степного коня, даже зная, что могут оказаться искалеченными. Но кто может сказать, что лучше? Разве вам не приходилось наблюдать, что своей пылкостью и первобытным мужеством они добиваются того же, чего мы добиваемся холодным расчетом и выдержкой. Мы достигаем цели одними средствами, они другими, но результат один. Разве Англия и Российская Империя не являются в настоящий момент величайшими государствами мира, во много раз превышающими Римскую Империю? Русских можно обвинять в чем угодно, но обвинять их в отсутствии ума и мужества — по-моему глупо, сэр, Вильям. Несколько минут тому назад вы выразили сомнение, что северная экспедиция, столь грандиозная по замыслу, принесет какие-нибудь плоды. Тут вы опять несправедливы к русским. Разве отряд под командой Цивольки не исследует Новую Землю? Разве братья Лаптевы и Прончищев с мужеством и упорством, достойным подражания, не исследуют пустынное побережье Сибири, совершая по загроможденному плавающими льдами Ледовитому Океану опаснейшие вояжи на кораблях меньших размеров, чем каравеллы Колумба? Познакомившись этой зимой поближе с Алексеем Чириковым, я могу сказать, что по знаниям морского дела он ни в чем не уступает капитан-командору; умом же, мужеством и волей, несомненно, превосходит его. И я осмеливаюсь высказать мысль, которая, вероятно, не придется вам по вкусу, Вильям, что если бы капитан-лейтенант Чириков был командиром первой экспедиции к Америке в 1728 году, берега Америки были бы достигнуты русскими уже 10 лет тому назад.

— «Посмотрим еще, как Чириков справится с предстоящим плаванием к Америке», надевая мундир и треух, холодно улыбаясь, проговорил Вильям Вальтон.

— «Вижу, что Алексей Чириков сумел приобрести неплохого трубадура, воспевающего его несуществующие доблести. Я бы охотно выслушал ваши дальнейшие рассуждения, дорогой Александр, но нам нужно ехать на бригантину. Мартын Шпанберх и так наверное ругается, что мы с вами долго не едем.»

ДЕТИ И МУДРЕЦЫ

В полдень «Святая Надежда», «Святой Михаил» и «Святой Гавриил» вышли из устья Большой реки в океан. Дул попутный северо-западный ветер. Приказав поставить все паруса, Александр Шельтинг долго стоял на мостике, рассматривая в подзорную трубу крутую, покрытую беляками волну, убегавшую в неведомую даль на восток; спрятав подзорную трубу, всматривался в лиловые тени, бродившие по склонам уменьшавшихся с каждым мгновением камчатских гор, полной грудью вдыхал пахнувший травами и хвоей воздух, последние запахи уходившей вдаль земли.

Ветром стало отжимать «Святого Гавриила» от других кораблей. Через четыре часа он был уже в шести кабельтовых от «Святой Надежды» и державшегося рядом с ней «Святого Михаила».

Пообедав, Александр Шельтинг снова вышел на мостик, опять пристально всматри-

вался в гребни волн. В сих неизвестных местах надобно быть готовым к любым неожиданностям. В любой момент могли быть обнаружены неизвестные породы морских животных, птиц или водоросли, занесенные волнами с неведомых островов. В любой момент корабль мог оказаться на неизвестных рифах. Кто знает, может быть земля Жуана де-Гамы и подлинно существует?

С носа борта, где собирались матросы и гренадеры, доносились песня, хохот, крики. Яков Сапожников, под свист и гиканье матросов и гренадеров отплясывал какой-то лихой танец.

Вздернув брови, Шельтинг вспомнил свой утренний разговор с Вильямом Вальтоном, подумал: «Действительно, странный народ. Не то полудикари, нето люди, потомкам которых суждено Провидением создать новую человеческую породу. Их душа изменчива, как поверхность Тихого Океана, скрывающего еще много тайн: ни трудности, ни опасности — ничто не в силах истребить в этих людях радость жизни, хотя никто так легко не встречает смерть, как они. Будучи детьми порыва, они готовы пожертвовать всем во имя осуществления своего желания или полюбившейся им цели. Когда они что-нибудь полюбят всем сердцем, тогда они становятся сильными, как Самсон, тогда решительность их граничит с безумием. Когда их сердце равнодушно, они ничто, они поистине пепел; но если искра любви к чему-нибудь попадет в их душу, она разгорается в вулканический пламень. И такими людьми руководит Витус Беринг, этот равнодушный наемник гениального царя варваров, Петра, этот Гамлет из Дании!»

Шельтинг взглянул на саженного роста Якова Сапожникова, отплясывавшего с детской веселостью вприсядку, бормотавшего скороговоркой:

«А как из лука-не мы!
Из пищали-не мы!
А попеть, поплясать, —
Лучше нас не сыскать!
Эх! Эх! Эх!»

— «Вот дура! Обрадовалась навстречу смерти бредя», — скривил губы, чинивший порванную рубаху, рябой матрос.

— «А нам, Захарка, не привыкать из трясины в омут нырять», — махнул беззаботно Сапожников, продолжая отплясывать. — Ты бы лучше, чем рубаху чинить, блохами сейчас занялся. Набрался поди их, лазая по камчадальским пещерам.

— «А что?»

— «Что? Да на морском ветру всего способнее блох изводить. Ветром их сразу всех выхватит да и утопит в океане! А то будешь потом ждать поветерья.»

— «Эх, ты, Рязань синепузая», — обиженно сказал рябой матрос, втыкая иголку в палубу. — «Мешком вы солнце ловите, блинами избы конопатите. Верно говорят про вашу Рязань, что в ней на всю Россию, на сто лет дураков запасено.»

— «А дуракам на нашей стороне, Захар, легче жить», — прищурил глаза переставший плясать Сапожников. — «Вот командор-то наш, который год все о вояже думает. От дум уж почернел весь. С умом жить — мучиться, без ума жить — тешиться. Погляжу я на тебя, Захар, и дивлюсь, что за народ у вас в Астрахани живет.»

— «А что?»

«Да, что за народ: плюнь ему в рот, а он и драться лезет», — насмешливо сказал Сапожников. — «Стукнет тебя по зубам Мартын, а ты и пошел мозгами раскидывать, что к чему, да почему! А ты, Захар, не думай: что немец, что швед — одинаково нас русаков за бревно считают. И ты на них, как на бревно, смотри. Они, брат, все знают. И что земля шариком в небесах крутится, какие горы на луне; звезды и те все сосчитали. А нас россиян и знать не хотят. Мудры, как змеи. Знают, сколько им выгодно, а более того знать ничего не хотят. За людей немцы нас не считают, а боятся нас. Чуют, дьяволы, что не растолкут нас, что не покоримся мы им, лучше костьми все ляжем, а не станем навозом для их огородов. Бояр-то перетолкут, а народ нет: душонка у них кисла для этого. Мы только-что жить начинаем, а они уж состарились. Для Руси у Бога еще много дней наперед запасено. Чуть что и опасаются нас, как смерти своей . . .»

Шельтинг дернул удивленно плечами: «Дети и мудрецы! И где кончается дитя, и начинается мудрец — непонятно. И так во всем и всегда. Прав этот матрос. Переделать этот народ на европейский образец трудно. А исхода другого нет. Упустить ежели время, нахлынут волнами на Европу и, будучи по натуре детьми порыва, сметут все, что станет на пути, с той же яростью, как полчища Атиллы и Тамерлана.»

НА ОСТРОВЕ СУМШУ

Распустив паруса, корабли шли точно по курсу на первый Курильский остров Сумшу, посреди кидавших водометы китов, плававших в великом числе по начавшему успокаиваться океану.

Под вечер показались берега Сумшу. Как приказано было Мартыном Шпанберхом, корабли стали на якоря, чтобы набрать пресной воды, купить у островитян свежей рыбы. Для экипажа «Святого Михаила» покупать рыбу поехали Неводчиков, Иван Гимков и морской гренадер Кокин. Берега малой бухточки, в которую вливалась узкая быстрая речка, были пустынны. Высоких балаганов, крытых травой, в которых жили летом курильцы, нигде не было видно.

Осмотревшись, Неводчиков вспомнил, что

в прошлый вояж балаганы курильцев стояли в устьи реки, впадающей в океан за скалистым мысом, видневшимся на юго-западе. Часа полтора плыли вдоль отмелых, высоких, каменных берегов Сумшу. Грести было трудно, то и дело приходилось пробиваться через крупную волну, ходившую на отмелых местах. Обогнув мыс, на правом берегу широкой речки увидели четыре балагана. Балаганы стояли на врытых стоймя в песок бревнах. Гренадер Кокин, только зимой приехавший на Камчатку, никогда не видавший курильских балаганов, спросил Неводчикова:

— «Для чего строят они высоко жилье?»

— «Так заведено у курильцев с изстари.»

— «А как они влезают в них?»

— «По бревну с зарубками. Как уходят из дома, бревно кладут на землю.»

Увидев подходивший ялбот, островитяне проворно спустились по бревнам из балаганов, пошли по берегу навстречу.

Гренадер Кокин во все глаза, как на подземных чудовищ, смотрел на подходивших островитян. И верно; для непривычного человека видом они были весьма удивительны. Только малая часть лица была свободна от черных смоляных волос. Густые, черные бороды струились по заросшей густым же смоляным волосом груди. Шли островитяне спокойно, держа в правой руке длинные луки.

Кокин потянулся к лежащему на дне ялбота мушкету.

— «Не опасайся, Григорий», — проговорил Неводчиков, — «они только с виду страховидны — от того, что волосами заросли. А людишки сердцем мягкие.»

— «По-российски говорят?»

— «На этом и другом, соседнем острове говорят и по-российски. Казачишки давно уже мохнатых на первых Курилах объясачили.»

Курильцы подошли к ялботу. Один из них, старик лет пятидесяти, державший в руках пучек орлиных перьев, поклонился низко Неводчикову, ласково улыбнулся.

— «Ты опять, Мишка, пришел. Что твоя хочет?»

— «Рыба, Евсей, у тебя сейчас есть?»

— «Есть, Мишка», снова низко кланяясь, сказал старый курилец. «Тебе много надо?»

— «Много. А сколько есть у вас?»

Старик поговорил по-своему с остальными, почесал грязный волосатый живот.

— «Половину твоей лодки будет рыбы. Больше нету.»

— «Что за рыба?»

— «Теркути есть. Ремжа есть.»

— «Что ты хочешь за рыбу?»

— «Топор. Два ножа. Одекуя три нитки. Две нитки синего, как море, одну нитку цвета крови.»

— «Ты, Кумуире-Куру, не дури», — проговорил, покачав головой, Неводчиков. — «Где я тебе столько добра возьму! Мартына, начальника нашей большой байдары, знаешь?»

— «Знаю», — сказал, сразу став угрюмым, курилец. — «Мартын злой. Злые глаза. Злое сердце.»

— «Так он, Евсей ,дал мне только два ножа, один топор, две нитки одекуя. Больше у меня ничего нет. Если я без рыбы на большую байдару вернусь, Мартын нас бить будет. Понял? Я тебе, Евсей, когда прошлым летом на Сумшу был, разве плохо делал?»

— «Нет, Мишка, нет», — торопливо сказал старик, кланяясь в пояс. — «Бери рыбу, бери. Покажи, какого цвета одекуй.»

Неводчиков вынул две нитки голубого бисера. Кумуире-Куру взял бисер, посмотрел, передал их другим островитянам. Сказал им несколько слов по-курильски, показывая рукой то на Неводчикова, то на видевшиеся из-за песчаного мыса мачты кораблей, потом, улыбаясь, сказал:

— «Ладно, Мишка, рыба будет. Привезем сейчас на байдарах.»

Когда плыли обратно на бригантину, Кокин, заслонясь рукой от бивших прямо в глаза солнечных лучей, спросил Неводчикова:

— «Скажи-ка ты мне, Михаил, почему это островских жителей казаки курильцами, а острова на коих они живут, Курилами величают? Не от того-ли, что на тех островах огнедышащие сопки всегда дымом курятся?»

— «Нет, не потому. Камчатские казаки жителей островов за мохнатость их, за то, что богаты они волосом, зовут издавна мохнатыми. Мохнатые же называют себя Айну или Куру, что по-ихнему — люди. А острова свои зовут они Куру-миси, что по-российски — Людская Земля. А отсюда и казаки зовут островки Курилами, а жителей оных курильцами.»

— «А почему ты старого курильца то Евсеем звал, то Кумуире-Куру?» — спросил Иван Гимков, провожая глазами пронесшуюся низко над гребнями волн с криками стаю топорков.

— «На первых островках большее число мохнатых — крещеные. Имеют православные имена, зовутся Трофимами, Иванами, женки — Матренами, Дарьями. Прозвища тоже российские имеют, зовутся Сторожевыми, Ширинковыми, Плетиными и Новограбленными. Но, христианские имена имея, и свои дикарские имена на забывают. Евсей этот до крещения звался Кумуире-Куру, а его женка Авдотья-Тукура-Мат. Куру, как я Григорию сказывал, на языке мохнатых означает — человек, а Мат — женщина. И те прибавки жители Сумшу и других островов к именам своим всегда делают.»

— «Сколь давно россияне тех островов достигли?»

— «Да при царе Алексее еще все первые Курилы излазили.»

— «Разбойничали, поди, первое время немало», — взглянув на высокие, затейливого

вида каменные кекуры*), стоявшие на берегах, проговорил, налегая на руль, Кокин.

— «Уж коли курильцы зовут себя новограбленными и плетиными, то и спрашивать, Григорий, нечего», — хмурясь сказал Иван Гимков. — «Стало-быть, и плетей от казаков приняли, и разбойного дела было вдосталь.»

— «Что ж, казаки не монахи. Ясно, спуску диким не дали», усмехнулся Неводчиков.

— «Не монахи, а христиане. А всяк христианин всегда должен соблюдать Христовы заповеди.»

— «Дикие-те же люди», — горячась сказал Гимков.

— «Так они ж нехристи были, когда казаки к ним забрели.»

— «Так по-твоему выходит, что коли дикие Христовой веры не знают, так значит их грабить, истязать, да убивать можно», — еще более горячась, сказал Гимков.

— «Чем тогда отличен христианин от них будет? Тем, что крест на шее носит, а в делах своих более злобы имеет, чем покланяющиеся идолам?»

— «Трудно, Иван, во всем Христовы заветы исполнять.»

— «Трудно, да надо. Перебороть надо беса в душе своей. Лучше совсем отступиться от Христа, лучше идолам, рукой своей сделанным, поклоняться да добро делать, как дикие, как Евсей этот сделал, спасая нас от линьков, чем крест носить, Христу на словах поклоняться, а на каждом шагу зло творить.»

Гулко ухнул единорог с «Святой Надежды». Тысячи топорков, чаек и ар сорвались с береговых утесов и бешено унеслись в океан пронзительно крича. Ухнули единороги с «Святого Михаила» и «Гавриила». Это был сигнал к выходу в океан.

— «Ну, давай, нажимай на весла»,— крикнул Неводчиков. — «Спешить надо. Не время сейчас о спасении души думать . . .»

— «О спасении души, Михайло, надо всегда думать», — налегая на весла, блеснув зелеными косоватыми глазами, упрямо сказал Иван Гимков. — «Иного пути к Богу не было, нет, Михайло, и не будет.»

Вдоль берегов Сумшу шли полночи. Освещенные луной высокие кекуры, как часовые, стояли на высоких каменистых ярах, у подножий которых грохотали, кипя белой пеной, буруны. Ивану Гимкову спать не хотелось, сидел на канатах на носу бригантины, смотрел на безлесые, нелюдимые берега, на полыхавшие за океаном, на западе, в лиловой тьме, далекие зарницы.

---

*) Кекуры — утесы.

Е. Коваленко

ЖАР-ПТИЦА

В глухом лесу, где ночь гнездится,
Ворует с месяца янтарь,
Живет неведомая птица,
В огнистых перьях Птица-Жар.

Туда неведомы дороги,
Туда тропинок не найти,
Полночных гор лежат отроги
На непроложенном пути.

Пройти туда во тьму и муку,
Пройти сквозь лунные круги
Сумеет тот, кто схватит в руку
Клубок и гребень у Яги.

Тому сиянье загорится,
На небе вспыхнет Весожар,
И из-под ног взовьется птица,
В огнистых перьях Птица-Жар.

М. ОРЛОВ

* * *

Ноют в землю впившиеся стрелы,
Кровь роняют алчные мечи.
Воинам, в сраженьях загорелым,
Солнце шлет прощальные лучи.

Города охвачены пожаром,
Слышен вопль истерзанной земли .
В степь уходят хмурые татары,
Страх неведомый в себя вселив.

Враг ушел, быть может, не вернется.
Миновала-ль страшная беда?
Шлемами из старого колодца
Черпается красная вода . . .

С жадностью вдыхают воздух плечи,
Хоть на час лишенные кольчуг,
Там боец травою раны лечит,
Перед ним лежит убитый друг.

Многих нет сегодня на привале,
Рук не греть им больше у костра.
Луг зеленый ими был завален
В битве, разгоревшейся вчера.

Князя храброго никто не видит,
Кем-то найден был его колчан . . .
Воины стоят на панихиде,
В синий сумрак погрузился стан.

* * *

Ты спишь и видишь сон, Мария,
О скорби предстоящих дней,
В твоих глазах грустит Россия
Всей грустью голубой своей.

С рассветом мы должны расстаться,
Настанут дни ночей темней,
Немало сел, немало станций
Покажет скоро поезд мне.

Ты спишь. Как сильно ты устала!
Тебя тревожит этот сон.
Очнись, уже повязкой алой
Покрылся синий небосклон;

В окно холодный ветер дует,
Касаясь уст твоих и кос.
Родная, жди, к тебе приду я,
Приду, приду . . . не надо слез!

* * *

О весне люблю я петь зимою,
Погружаясь в лунные снега
И когда бушует надо мною
Бешеною пеною пурга.

Все ее насмешки принимая,
Ничего в ответ ей не скажу,
Мысли все мои в зеленом мае
В зимнюю, суровую грозу.

Небольшая речка льдом покрыта,
Занесло знакомую тропу. —
Не луна-ль, сквозь облачное сито,
Сыплет серебристую крупу?

На моем лице снежинки тают,
Жесткий ветер дует все сильней,
Вот прозябшая поднялась стая
Воробьев, стряхнув покров с ветвей.

У реки тоскует сиротливо,
В шуме дней и в тишине ночей,
Мать несчастная, старушка-ива,
Растерявшая своих детей.

Изредка протяжным звуком вторит
За седым бугром веселый лай.
Вспоминаю: алой краской зори
Разукрашивают русский край!

Как весною, светит солнце ярко,
И лучи его любовь несут . . .
Расцветает нежная фиалка
У дороги в молодом лесу.

И. А. АНОСОВ

* * *

Я сошел с плоскогорий Ирана
И в крови моей тлеет Восток . . .
Оттого средь Европы тумана
Иногда появляется алый росток.

И махровая роза Шираза
Расцветает в усталой груди . . .
За счастливую радость экстаза,
За безумье любви никого не суди!

Но открой свое сердце живое, —
Разве там не цветущий Шираз?
Когда в нем сочетаются двое
На бессмертный, как сон, хоть
единственный раз!

ИРИНА САБУРОВА

КОЛЬЦО СВ. НИКОЛАЯ

Это кольцо никогда не принадлежало Святителю Николаю-оно было не святыней, а реликвией-сердца, а может быть и-греха. В жизни часто встречаются камни, и в них, и о них бьется глупое человеческое сердце. Разбитые часы отказываются починить даже самые жуликоватые мастера, но сердце продолжает раскачивать маятник крови; трещины выражаются в рецептах докторов, а что касается сердечных мук, то они достаточно воспеты всеми поэтами. Кроме поэтов, их обычно не замечает никто.

В тяжелом, золотом перстне с выпуклыми наплывами, оттененными чернью, мутно-фисташковым пятном зеленел скарабей. Настоящий скарабей найти не легко. Может быть, это действительно окаменевший жук, символ бога Ра-солнца и вечной жизни; может быть, он сделан из особой мастики или вырезан из полудрагоценного камня; египетские мастера хорошо знали свое дело.

Несомненно одно: в скарабеях тысячелетия солнца, впитанные пирамидами: они могут приносить счастье, но не каждым рукам, и это так и должно быть: под солнцем ведь тоже не каждому есть место.

Герр Тильнер недавно надел кольцо-случайная покупка у какого-то гестаповца под утро довольно сумбурной и пьяной ночи. Гестаповец сказал, что в кольце минимум десять грамм; ювелир на следующий день взвесил — двенадцать. Ювелир говорил что-то и о «скарабеусе».

— Вроде малахита? — спросил герр Тильнер. — Камень, конечно, ничего не стоит, но золото . . .

Герр Тильнер знал цену золоту — сто двадцать марок за грамм на черной бирже. Марки — пивные этикетки, которыми скоро можно будет оклеивать стенки, потому что война явно проиграна; герр Тильнер носил на отвороте пиджака золотой партийный значок, и, зная все это, напивался почти каждый вечер.

☆

На площадке лестницы было две двери рядом: на одной эмалевая дощечка: «Институт красоты«, на другой ничего, кроме пятна от сорванного почтового ящика. Герр Тильнер прекрасно знал, что «институт» заключается во фрау Лене Шмидт, делающей маникюр. Молодая зубастая берлинка, очень толстая, очень шумная, глуповатая и довольно сердечная женщина. У нее было много клиентов.

— Фрау Лене ушла в кинематограф и должна сейчас вернуться, — сказала соседка, отворившая свою дверь после неистовых звонков герра Тильнера.

Соседка была иностранкой. Герр Тильнер часто видел ее, даже начал кланяться. Она жила совсем одна — муж сидел где-то в провинции, а она под бомбами непрерывно чинила квартиру. Такие странные глаза у этих иностранок и —такие трудные имена!

Герр Тильнер прислонился к косяку двери, поддерживая локтем толстый портфель. В портфеле была бутылка коньяку и много вещей, недоступных по карточкам.

— Попробуйте эту грушу, — сказал он и полез свободной рукой в портфель. Хорошенькая женщина с такими странными глазами — прямо жаль! И вот вам еще шоколад.

В улыбке иностранки герр Тильнер увидел только обрадованность — он не считал себя пьяным, конечно, а других ее мыслей не знал. Не знал и еще одного: повернувшись тяжело навстречу фрау Лене, он скользнул рукой по выщербленному косяку. Перстень, со скарабеем чуть звякнул о дерево и упал на половик.

Ташенька захлопнула дверь. Получать шоколад от друзей фрау Лене — да еще вдребезги пьяных — не очень лестно, но — она так давно не ела шоколада. В конце концов сидит она под налетами, или нет? Пусть награждается добродетель — добродетель всегда несчастна.

☆

Фрау Лене ворвалась на следующий день, как всегда, с грохотом небольшой бомбы, лаем собаченки и хлопаньем по бедрам.

— Фрау Таше! — Собственный каламбур всегда приводил ее в восторг. — посмотрите, что я нашла! Иду в темноте и вижу-блестит. Бриллианты в платине! А теперь разглядела — и полное разочарование. Вульвортовская дешевка. Так жаль!

Мелкие серебряные гвоздики в вытянутом ромбе кольца блестели действительно, как звездочки. Фрау Лене швырнула кольцо на стол.

— Подарите вашей советской девушке и скажите ей, чтобы она непременно пришла ко мне убирать в субботу, я дам ей туфли. Хорошо?

Она подхватила собачонку, смахнула ее

хвостом карандаш и бумагу со стола и выскочила, не прощаясь, размахнув двери толстыми боками.

Это было через полчаса после налета, и Ташенька устала: пустота в груди и голове, в горле холодный запах известки и гари на улице; Николай Угодник охраняет дом, поблескивает олеографным золотом риз в углу — и надо благодарить Бога, что и на этот раз благополучно — а вместо этого звенящая пустота в груди. Начало привычки, что-ли?

Что там смахнула со стола опять эта неистовая «институтка»? Ну и пусть. Завтра можно убрать. Сейчас только лечь и ни о чем на думать.

В этот налет погиб герр Тильнер.

☆

— Тетя, — говорит Валя, советская девушка с темным лицом и огромными руками, — вы там кольцо обронили, так я положила на комод.

Ташенька улыбается. Тихий советский юмор: «комод» отличается от обыкновенного столика только тем, что на нем стоит зеркало, но какая же спальня может быть, по ее представлению, без комода? А «тетя» — это она, и опять же: нельзя иначе. Назвать ее Таней Валя не решается; о «барыне» она не слыхала даже, а имя и отчество — это уже тонкость. Валя хорошая работница, честна, глуповата, мрачно сопит и не задает вопросов, отвечает на них тоже неохотно.

Когда она уходит, Ташенька вспоминает, что хотела подарить ей кольцо фрау Лене. Ну, в следующий раз . . .

И забывает, конечно . . .

☆

Тишина августовского неба опустившись на улицы, становится тишиной развалин. Улицы не грохочут больше. Оранжево-серые груды щебня, кое-где уже с порослью травы. Черно-серые остовы домов с пугающей симметричностью провалов окон. Когда-то из них выглядывали человеческие лица, теперь режуще и жутко смотрит пустое небо. С домов оборвана красивая полированная кожа штукатурки, обоев, ковров, домашнего уюта. Этот слой оказался очень тонким. Под ним железные кости, мясо кирпичей и пыль, пыль, пыль. Полумертвый город. Каждый день он подкрашивается слегка: развалины выкладываются стенками на ухабах тротуаров, окна забиваются картоном и заплатами досок, на грудах камней, как пугала, раскидывают руки разноцветные плакаты: наша фирма находится теперь там-то . . . Но румяна не помогают: каждый вечер в щемящей темноте на небе вспыхивают острые арки прожекторов, нащупывающих смерть, жалкая человеческая попытка радуги навыворот — перед грозой. Каждый вечер — ожидание смерти.

В окна комнаты развалины соседнего дома бросают отраженное небо. На окне нет занавесок, стены сбиты из квадратиков серого картона, пол тоже стал серым от известки. Кровать, туалет, шкаф, письменный стол, кресло. Оголенность обстановки напоминает скупые гравюры.

Ташенька встала рано, хотя сегодня воскресенье, и вычерчивает на прохладном белом листе эскиз куклы, виденной где-то.

Девочка разорвала и смяла куклу. Остались растопыренные руки и ноги, свитые из проволоки, белый балахон на палочке и уродливая голова с обожженными провалами глаз и громадным, перекошенным ртом. Кукла шагает через развалины и смеется деревянным смехом — в скрюченных пальцах болтается, как крылатая гусеница с громадными слепыми глазами, четырехмоторный бомбовоз .

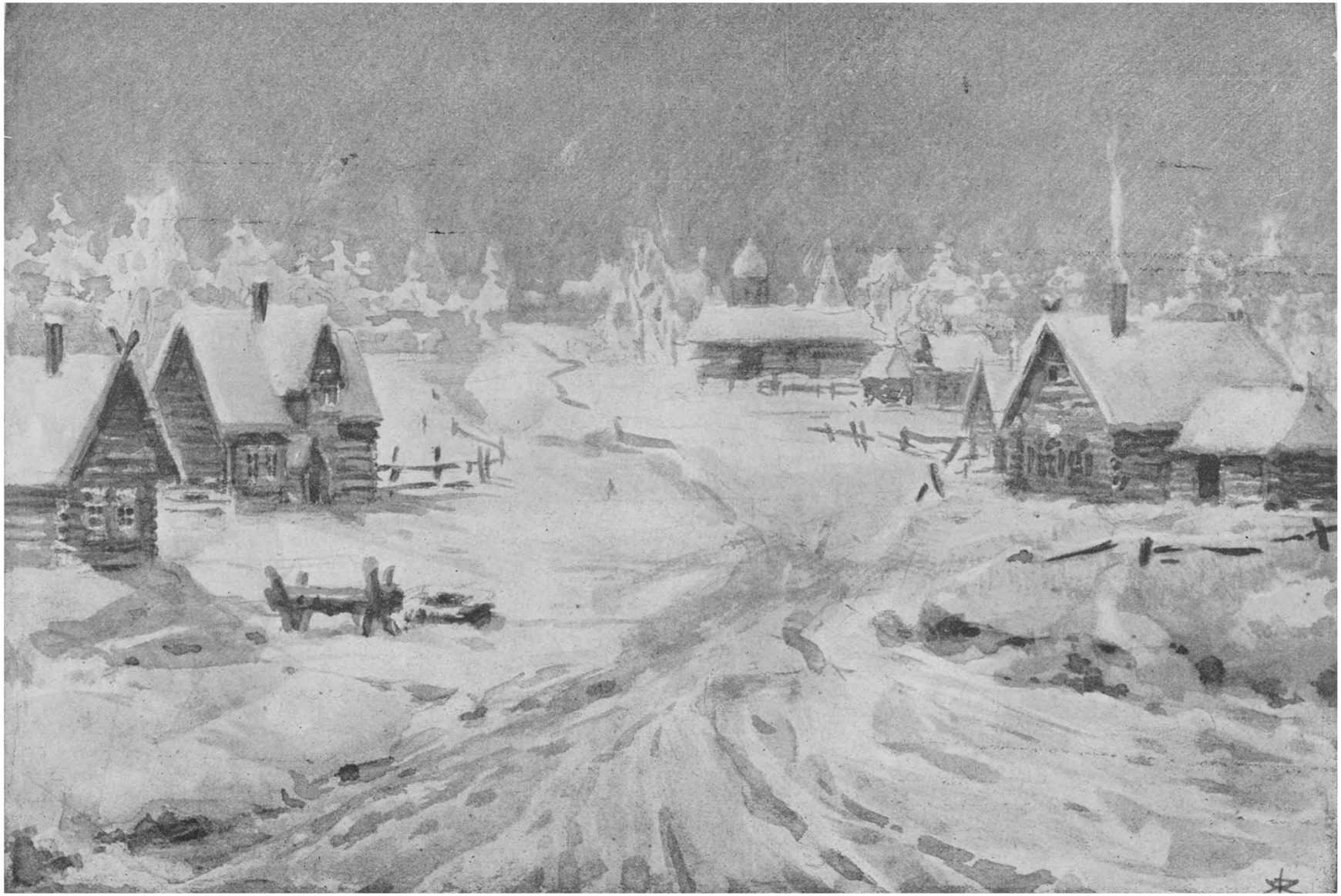
Рисунок очень удачен. И она довольна, давно не работала так, но на продажу это не годится. Тем лучше, останется для выставки.

В двери зашуршала просунутая газета. Ташенька налила кофе, намазала бутерброды, и развернула лист. Жирной лентой заголовок о потопленном тоннаже — значит, неважны дела, если даются громкие общие цифры — кто там на море разберет . . .

Прорыв фронта! . . . Бои на улицах . . . Маленький балтийский городок кактусов, старых дев и герцогских замков, где Леля и все свои — советские танки на улицах города вчера-сегодня-сейчас, может быть-или кончено уже все . . .

Ташенька вскакивает, мечется по комнате, задевая за кресло. Мысли сливаются клубком, как спутанные ножи, и каждый режет, режет . . . Кто спасся? Кто молится сейчас, может быть, в последний раз . . . Брат . . . сестра . . . Господи!

— Помоги, Николай Угодник! — кричит Ташенька и ей жутко от того, что она кричит. Она осторожно садится к столу, кладет руки на скрещенные пальцы, смотрит неотрывно на иконку в углу. Это совсем новая дешевая иконка — на дощечку наклеена лубочная картинка: Николай Чудотворец с синими глазами в сине-алых с золотом ризах. Ташенька часто разговаривает с ним — с кем же еще говорить здесь, одной, в Берлине, под бомбами? Он все видит. Он все знает. Только он может помочь, если она заслужила чудо. Чудо, как и счастье, бывает, только его надо заслужить. Но Ташенька никогда не молится больше о счастьи — его не было и не может уж быть теперь. Сергей Александрович очень любит ее, и она его тоже, конечно; спокойно и ровно заботится о нем, только приятнее всего оставаться одной — свободной от всех обязанностей, веселой и спокойной. Но Леля только что вышла замуж, и они так счастливы . . . Николай Угодник, сохрани их, помоги им, спаси! Родной мой город, каждый камень, каждый



поворот улицы — годы жизни... Снова идет на него смерть, помоги, Господи, хоть тем, кто должен умереть. Святитель Николай, ничего не прошу для себя — да и не за что мне давать что-нибудь, только Лелю спаси! Леля так долго мучилась, теперь только свет увидела, и вот...

Плачет Ташенька и головой о стол бьется, ласково и проникновенно грустят над нею синие глаза Угодника Николая. Неразумные люди и не знают чего им просить: ни давать, ни получать не умеют. А сколько их молится, и каждому нужно что-то: кому умереть, кому жить помочь...

✱

— Ташенька, что это у тебя за кольцо? Почему не показывала до сих пор? Замечательное какое! И просто так лежит.. Его же в чемодан налетный спрятать надо.

— Какое ты там еще кольцо нашла? Да вот, на туалете, в мисочке. Ужасная неряха! Пуговицы, иголки, и вместе с ними — да ведь это настоящий скарабей! Что же ты ничего не говорила?

— Леля, у тебя после бегства до сих пор голова кружится, какое кольцо может быть у меня на туалете? У меня и обручального нету даже. Ах да, это мне фрау Шмидт принесла, на улице нашла, я его хотела Вале, уборщице, подарить.

— Ты с ума сошла!

— Чорт знает, что такое, рисовать мешают. Давай его сюда. Леля... Леля... Да это ведь другое совсем! Золотой скарабей, настоящий... Ничего не понимаю.

— И ты не знала ничего? Может быть, Сергей Александрович оставил?

— Нет у него такого... Никакого вообще.

— Как же так? Забыл кто-нибудь?

— Забыл и не спохватился? Ну, знаешь-сказка какая-то. Сперва твое чудесное спасение, сейчас — кольцо неизвестно от кого. Пикантное положение: в спальне женщины, живущей без мужа, на туалете забыт мужской перстень... Сергей Александрович ни за что не поверит, старый ревнивец. Анекдот! И ни у кого я не видела его. Да и кто же был у меня здесь? Кроме Святителя Николая и не разговаривала ни с кем...

— Может быть — есаул оставил...

— Он на кухне сидел.

— Действительно, непонятно. Чье-то оно должно же быть? Не Угодника же Николая?

— А вдруг? — Тебя он мне спас, из-под налетов вызволяет, — вот и подбросил кусочек золота и скарабея на счастье. Только почему же мужское тогда? Надо будет спросить у всех в круговую — кто потерял.

— И глупо сделаешь. Кто до сих пор не спохватился, не стоит скарабея. А, может быть, кто-нибудь хотел тебя втайне обрадовать и не признается все равно. На жулика еще нарвешься-скажет: — Конечно, мое, давайте сюда! А сам первый раз его видит. Вот если кто-нибудь спросит, другое дело, отдавай, хоть и жалко. Скарабей счастье приносит. И это повидимому настоящий, — посмотри, цвет какой — точ в точ, как глаза у тебя — защитного цвета. Таких вторых не найти.

✱

Вторые такие же, зеленовато-серого скарабейного цвета, нашлись. Схожесть глаз-одинаковость душ. Когда Ташенька увидела их ,сразу потянуло сесть рядом, положить ему голову на колени и прислушиваться, как бы он гладил ей волосы — тихонько и нежно. понимая все. А из тепла и нежности выросло такое сияющее счастье, что зимнее небо выкупалось в золоте, белая пудра снега, такого неожиданного в Германии, засинела родными сугробами и Ташенька улыбалась навстречу всем. Самых простых и серых позолотило это солнце.

Только и видела зеленые глаза, только и тянулась к ним, только на Николая Чудотворца в углу не смотрела больше — потупляла голову, не поднимая глаз. Благодарить бы за это солнце в груди — а нельзя — грех. Вместо лика Угодника проступало лицо Сергея Александровича; гневно насупливались брови, презрительно и сурово сжимался рот.

Крылья за спиной падали тяжелым камнем, отдавливавшим плечи. Но за счастье платят; потом, за какой-то стеной, глухо замыкающей все, она будет плакать и мучиться, и платить. Потом, потом. Бывает счастье!

✱

Человек с зелеными глазами, в меховой куртке, распахнутой на широких плечах, осунувшийся и бледный, прижимает к груди руки Ташеньки, руки, создающие такие острые и тонкие гравюры, — такие похолодевшие и беспомощные, слабые руки уходящей, любимой.

— Что же теперь, Ташенька?

Ташенька достает из грудного кармана крохотный комочек шелка. Тяжелый перстень легко и плотно оковывает палец.

— Это тебе, милый. Кольцо Святителя Николая. Самое дорогое, что у меня есть, все тебе теперь отдала. Пусть хранит... Не в каждой же пуле смерть. Когда война кончится, мы встретимся, и заслужим наше счастье... если Николай Чудотворец поможет.

— Ты сказала мужу?

— Так и сказала. Он не верит, не хочет меня отпускать. Ему ведь тоже больно, милый. Но я не могу иначе.

— Через полчаса уходит поезд... Любимая моя, Ташенька, да неужели же может быть человеку так больно, так больно? Не могу я тебя оставить одну глаза мои любимые, живые скарабеи — что бы то ни было, ты ведь все равно моя?

— Твоя, милый . . .

В нетопленной, темной и голой комнате, на столе без скатерти остается пустая бутылка с холодным и кислым запахом белого вина и два стакана. Окно упирается в тупик развалин, как в пепельницу с застывшими окурками, — в серый, мутный, давно перегоревший пепел Глаза выцветают в темной тени обводов, как неумелый грим. Сердце бьется неровно и устало, пересчитывая ступеньки облезлой лестницы: встретимся — никогда больше — встретимся — никогда . . .

☆

— Где ты была?

— Пошла проститься. Уезжает на фронт.

— Хоть в последний раз да досыта? Потаскуха, уличная девка, ху-дож-ни-ца! Намалевал он тебе синяки под глазами! Неужели тебе ни капельки не стыдно в глаза мне смотреть? Нет, ты смотри, глаз не опускай. Я тебе не Николай Угодник в углу — хочешь-молишься ему, хочешь-полотенцем закрыла, чтобы сраму не видел. Я Богу не молился, когда все кругом чистые рубахи надели, надежды никакой больше не было. Сам себе говорил: смирись, Сергей Александрович, помолись! И все-таки не молился. Но я чистый человек, и мне не стыдно никому в глаза смотреть, да я скорее убил бы себя, чем срам принял. А ты? О грехе, о мерзости тоже молиться будешь? Ошибка, мол, вышла! Художественная натура — с одним погуляла, другого подавай? Вранье, конечно, что ты с ним недавно познакомилась. Вы уже давно снюхались — не даром ты мне все о разводе толковала: устала, мол, от семейной жизни, одной веселей. Чем я тебя стесняю? Жена должна сидеть дома, конечно, и чужих мужчин в отсутствие мужа не принимать. А хочешь рисовать-рисуй. Так ведь для чего ты рисуешь? Тщеславие все, чтобы льстили тебе и на словах и в печати . . . Подожди, я еще выколю тебе глаза, выжгу, тогда порисуешь — нечем будет хвастаться! Нет, никуда не уйдешь, дверь заперта, можешь кричать, никто не услышит, и твой хахаль тебе не поможет. Первая же пуля ему в лоб будет, не беспокойся, и не спасет его, если и к штабу примажется . . . Такие охотники за чужими женами не очень-то передовые линии любят . . . Да, пожалуйста не падай в обморок-это-все твои гравюры на полу, все до одиной — в клочья. Вот тебе твоя выставка — полюбуйся! Пальцы бы тебе переломал, чтобы не рисовала больше ничего, а то ведь, теперь начнешь цезаря своего выписывать. Ясно, что цезаря —и профиль римский, и кто-же после короля у принцессы быть может? И я дурак, поверил, что действительно твоим королем был. До первого жеребца! Дрянь проклятая! Где скарабей твой? Наверно, подарила, своему отдала, а ведь никогда расставаться с ним не собиралась. Я искал уж его, растоптать хотел, вот как тебя сейчас топтать буду, и иконку твою! Недостойна ты на нее смотреть, Угодника Божьего еще своим сводником сделаешь-уйди, не мешай мне, раз я сказал, сволочь!

Боль от извивающегося под твердыми пальцами горла, от внезапного перерыва дыхания дробными молоточками раскатилась в ушах и оборвалась странным коротким звоном, как всплеск в темноте.

Дощечка с иконкой только покачнулась в углу, но удержалась.

Святой Николай в сине-алых ризах задумчиво и строго смотрел на лежавшую на полу, на разорванной груде картин, Ташеньку, на лужи воды, неумело и растерянно проливаемой Сергеем Александровичем, на кровь, медленно стекавшую с разбитого лба.

Зеркало, сорванное с туалета было слишком большим для посиневших слегка губ. Сергей Александрович лег под него рядом с нею, держа его, как крышку, пока не уловил матового отблеска.

— Жива, значит. Что же я наделал, Господи! . . .

Отодвинул зеркало, прижался к ней, как большая собака, отогревающая мохнатым животом утопленного щенка. Неужели она холодеет? Да нет-же, дышит еще. Может быть, искусственное дыхание сделать? Сама же виновата, зачем уходила прощаться, зачем пропадала так долго, зачем вообще допустила до этого. И ведь уперлась, главное. Сказала бы: виновата, мол, прости . . . Ну, может быть, простил бы все-таки. Случился грех-нельзя женщину оставлять одну так долго, надо было с ней жить, а не пытаться уходить хоть одному из-под налетов. Разве вот то, что было сейчас-не хуже даже смертного страха? Так ведь-нет. Не эпизод, не случайная слабость, а самый, мол, настоящий и единственный. А он кем тогда был? Их-то роман что же, — ложь и притворство, игра только?

Следующая ступенька? Почему его называла серебряным королем? Какую замечательную гравюру нарисовала-на северную сонату Грига . . . Менуэт призраков в средневековом замке. Вот кусочек от нее валяется — старик король, облокотившийся на троне, протягивает руку, чтобы удержать призрак принцессы . . . Правда, она с самого начала говорила, что они не подходят друг к другу; спорили часто, не нравилось ему многое в ней. А все-таки родными стали, и самая родная она и никого кроме нее нет, да и не может быть, последнее ведь это, жизнь прожита . . . Если бы она слышала сейчас, какие у него ласковые слова в сердце-только сказать их он не умеет . . . Ташенька, Ташенька!

☆

— Год тому назад, в эти самые дни, я приехала к тебе, Ташенька. Помнишь? Но из

Данцига я ехала скорым поездом, и знала твой адрес... А вот так, как ты, на товарных поездах разыскивать, неизвестно, куда и где... Молодец, Ташенька! Мне все время казалось, что ты найдешь нас, и именно так неожиданно и появишься на пороге. Если бы не Сергей Александрович, нисколько бы не сомневалась в этом. Как он отпустил тебя одну? Разошлась окончательно?

— Еще нет, Леля. Если не найду вернусь к нему. Мне все равно будет, а ему легче. Зачем доставлять другому страдание, если можно его облегчить?

— Ну, это твое дело. Я его простить не могу, но не вмешиваюсь. А вот знаешь что нибудь?

— Несколько дней жила в Мюнхене — каждый раз останавливалась на всех мостах через Изар. Удивительная вода в этой реке: даже при самом голубом небе всегда остается зеленой, как скарабей, как наши глаза. Он был в Праге во время восстания — только это и знаю.

— А ты не отчаивайся. Найдешь. У нас такой уж счастливый лагерь. К Нине Александровне вчера муж приехал-тоже погибшим считала... Ты чего улыбаешься?

— Нет, я так, из другой оперы. Альбом своих зарисовок вспомнила. Если бы мне сейчас стол да бумагу с тушью. На целую выставку материала хватит. Мотто: «На дне. сорок пятого года.» Люди на платформах с углем, на вокзальном полу, в бункерных отелях, в лагерях, на улицах, на дорогах... Это уже не беженцы, не иностранцы, не «разбомбленные», не пленные даже... Несколько миллионов людей, которым терять больше — нечего, деваться — некуда, и все куда-то едут или собираются ехать, и все ищут, и сами не знают, что ни родных, любимых и близких только ищут, а хватаются за них, как за соломинку, потому что потеряли жизнь. И все надеются. Слава Богу, что так. Я — тоже.

☆

— Ташенька, дорогая, вы ли? Господи, какая встреча. Ну, кто бы мог подумать. Вы давно уже здесь? Кого еще видели? Леля где? Да что ж мы стоим? Идемте, здесь неподалеку замечательное мороженое дают... И поговорить можно. Я так хотела встретить родную душу; у меня столько переживаний, и столько дел, и сейчас я просто не знаю, как поступить — надо посоветоваться, излиться...

— Перепелочка, вы все та же...

— Да, никогда не забуду вашей карикатуры, весь город меня дразнил: «Три ха-ха в три ручья!» Вам хорошо быть всегда спокойной, выдержанной, как королева. А я не могу, я переживаю. Господи, половину чемоданов в Праге потеряла. Мы сперва в Дрезден приехали, потом в Прагу, а теперь в Кемптене. В лагере устроились хорошо, за мной один американец ухаживал, даже жениться хотел-подумайте, за консервные банки! Я ему отказала, конечно. А вдруг негром окажется? Поклонников, как всегда, — хоть отбавляй, но на этот раз я влюбилась серьезно. Античный профиль-вот бы вам нарисовать! Приезжайте к нам, я вас устрою в лагерь. Ну, вот, теперь можно есть мороженое. Вкусно, правда? И подают хорошо. Люблю такие бокальчики, как фужеры. Ташенька, дорогая, вы все знаете и должны мне помочь. Я ведь приехала сюда по делам. Надо Петра Николаевича разыскать, он где-то тут и продать кое-что... Да, я теперь пока торгую, как все. Выучилась, иногда только ругают страшно, если я перепутаю, но я не боюсь. А вот это кольцо хочу спустить или обменять: можно два обручальных, или для меня какое-нибудь красивое... Сперва я хотела переделать, но не стоит, тяжело слишком...

— Откуда оно у вас?

— Да говорю же вам, у меня роман. На этот раз настоящий, ей-Богу. Снял с пальца и подарил: «делай, говорит, что хочешь, мне его не надо. Была когда-то память — а теперь даже забыл о чем.» Сколько оно стоит, как вы думаете? Боюсь продешевить...

На белом мраморном столике матово поблескивали бокальчики под серебро. Перстень звякнул о мрамор и застыл. Тяжелый золотой обод, зеленоватый скарабей-символ вечного солнца. И глаза такого же цвета, и шелковая вода Изара. Целовала это кольцо на руке, чтобы сберег ее ласку. «Была когда-то память, а теперь даже забыл о чем...» Перегорело, значит. У многих сейчас эта болезненная пустота, слишком много пришлось пережить, старое выжжено и нет больше сил-ни для прежнего, ни для нового. Цезарь и Перепелка...

— О чем задумались, Ташенька?

— Бывает иногда-простите Перепелочка. Вспоминаешь вдруг, как боялась налетов: не хотелось погибать. А теперь-жаль. Проще ведь это. И молиться не надо больше, и. А на кольцо у меня есть покупатель, я его возьму.

☆

В меблированной комнате было тепло и уютно, но с отъездом Ташеньки она опустела. Остались книги, одинокие прогулки, случайные разговоры с неинтересными чужими людьми. Сергей Александрович раскладывал пасьянсы, топил печку и подолгу просиживал у огня. Почта не идет, а где теперь Ташенька-с кем? Может быть, нашла сестру, а может быть-и того. Или нового нашла? Нельзя было отпускать. Да что поделаешь-не убивать-же? Больше не способен на это. Тогда в бешенстве, обезумел просто. Если она теперь вернется, даже не спросит ни о чем, пусть сама рассказывает, что считает нужным, никакого гнета с его стороны не будет. Только

бы здесь была, рядом. Пусть рисует, читает, просто молчит. Своя, родная-мать, ребенок, жена все вместе. Только бы вернулась...

Ташенька приехала глубокой осенью, когда особенно пасмурно в стареющем сердце. Она рассказывала три вечера подряд о путешествии, сестре, знакомых, политике... Показывала альбом с зарисовками — какие лица, какие сцены, и какая жуть этих горьковсих и горьких декораций! Сергей Александрович не был художественным критиком, но ему казалось, что художник, схвативший все это, не задумчивая Ташенька, а кто-то совсем другой, разодравший себе грудь и издевающийся над собственной язвой. Эта искаженная смехом боль жесткими и скупыми штрихами ранила бумагу, как игла вкалываясь в глаз.

Когда Ташенька, приведя все в порядок, легла и устало опустила руки вдоль одеяла, Сергей Александрович остался еще сидеть у печки. Сколько раз он мечтал об этом, потихоньку совсем: поднять глаза и увидеть на подушке голову Ташеньки. Ресницы опустила, тень под ними вздрагивает от свечи, и тень ли это, или новая черточка в лице? Как на ее гравюрах — ранящая острая игла вздрагивает в бровях. Может быть, просто отблеск — свеча горит вместо лампадки перед Николаем Чудотворцем... Пришла же ей фантазия — повесить свечу, как лампадку и воткнуть в кольцо на цепочке. Напрасно он тогда обвинял ее, что отдала перстень — он, оказывается, все время в чемодане был, она его сама вынула теперь.

Свеча горит в перстне, живой огонь, и золото кажется живым, только в скарабее свет потухает сразу — потемнел скарабей.

Синие глаза Угодника смотрят проникновенно, спокойно и строго: кто начинает, а кто перестает молиться —

Святый Отче Николае — моли Бога — о всех!...

ИВАН ЕЛАГИН

МОЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Отчего, не знаю, взоры
Неожиданно привлек
Этот звякающий шпорой,
Этот бронзовый сапог!

О бреттерах и о мотах
Рассказали, как слова,
Кружева на отворотах,
Щегольские кружева.

А за окнами все то же:
Тот же тополь, тот же дом,
Тот же сгорбленный прохожий,
Тот же двор, покрытый льдом...

С глаз долой! Спустите шторы!
Мы устроим век иной!
Здесь сегодня мушкетеры
Побеседуют со мной!

Попрошу, чтоб рассказали
Все, что знали на земле:
О боях, о кардинале,
О надменном короле,

О дорогах и тавернах
И аббатствах вековых,
О любовницах неверных,
О дуэлях роковых!...

У боченка сядут гости,
Будет смех и стук костей,
И монет тяжелых горсти
Лягут в складках скатертей.

Все растает на рассвете,
Как бургундского пары,
И останусь я, да эти
Стены, книги и ковры...

За опущенною шторой
Я до утра лампу жег —
Оттого, что звякнул шпорой
Мушкетерский сапожок!

П. ПАРУС

РОССИЯ РОДНАЯ

Как увидишь раздолье полей,
Что в июле до слез голубые,
Скажешь: Что же на свете милей
Мне тебя, дорогая Россия?

Как увидишь в лохмотьях людей
Там, где нива шумит золотая,
Почему же, ты скажешь, бедней
Всех на свете Россия родная?

Не увидевши храма Христа,
Над селеньями взором блуждая,
Там, где купол поблек без креста,
Спросишь: Где же Россия родная?

Точно в доме в кирпичной трубе
Ветер стонет, тревожно рыдая,
Меж крестов на зеленом бугре
Плачет наша Россия родная.

Если веришь душой во Христа,
Не страшна тебе злая стихия,
Верь: хоть кровью до плеч залита,
Но воскреснет родная Россия!

ДЕРЕВНЯ КУРГАН

Деревушка лежит у кургана,
Разбежались дороги в поля,
И в весеннем стоит сарафане
Молодая сирень у плетня.

Растерялись дома и амбары,
Окна смотрят туда и сюда,
За углами встречаются пары,
Про любовь шелестит лебеда.

Опустился, как облако, вечер,
Над деревней повисла луна,
И колышутся трепетно свечи
Мимоходом людей у окна.

За железной оградой часовни
«Спаси, Господи» вторят кусты;
Головой вознесясь к колокольне,
Липы нежно целуют кресты.

Спорят с мраком лягушки в болоте,
Не отходит деревня ко сну,
Не устали девчата в работе,
И ребята у песни в плену

Так плясала, не спала деревня
Под баяна июньский разгул,
Словно сбросили листья деревья,
Или вихрь их нежданно смахнул.

— — — — — — — — —

Да, деревня была и не стала,
Там крапива целует бурьян . . .
Словно кошка сметану слизала,
И тарелкой остался курган.

МОРОЗНОЕ УТРО

Небо синью весь мир обнимает,
Солнце снег золотит докрасна,
Звон хрустальный пути наполняет,
Обагрилась лучами сосна.

По лесам седины росписные,
Тонкий грим чертит белый мороз,
А в тени меж дубов голубые
Стынут тонкие ветви берез.

Воздух льется холодной волною,
В сердце скрытый пылает пожар,
Каждый выдох туманной струею
Выделяет лохмотьями пар.

Трубы ставят прямыми столбами
В небо белый, волнистый дымок,
Не ведет, как всегда, с тополями
Тихой речи нигде ветерок.

Песня гулко звенит по дорогам,
Ударяя бокал о бокал,
Север мой, не обиженный Богом,
Рассыпает свой звездный кристалл . . .

Небо синью весь мир обнимает,
Солнце снег золотит докрасна,
Звон хрустальный пути наполняет,
Загорелась багрянцем сосна.

Е. ГАГАРИН

Последнее кочевье*)

Самоед очнулся с чувством, будто он падал в черную пропасть. Оглянувшись он увидел, что сидит в своем чуме на шкурах у огня, вспомнил, как, возвратясь от оленей, поставил на огонь свой старый прокоптевший чайник, как хотел выпить кипятку и — вдруг понял, что он заснул перед очагом. Слеза выступила из-под его опухших кровавых век и медленно поползла по лицу, серому и изборожденному, как осенняя застывшая земля. Самоед заснул перед огнем — значит дело было плохо, значит лучше было умереть!
Он вспомнил, как года четыре тому назад заснул перед своим очагом, свалился и сгорел в своем чуме старый вдовый и бездетный самоед Степан и как он подумал тогда радостно, что с ним этого не может случиться, ибо он не одинок . . .

Дрова выгорели за время его сна, лишь один крохотный огонек еще мотался над углями, словно стремясь оторваться от земли; обуглившиеся головни чадили и дым широко, веером, разлетался от них, стремительно прорывался наружу сквозь дымовое отверстие вверху чума. Будет ветер — подумал самоед. Он вспомнил было об оленях, но тотчас же успокоился: кочевье было выбрано хорошо, за лесом, — и мысли его вновь вернулись к себе самому Он чувствовал тяжесть своего ослабевшего, грузного, словно мешок с мукой, тела, чувствовал свои холодные отсыревшие ноги в чулках и пимах из оленьих шкур; тонкая пронзительная струя воздуха проникала под его меховую одежду — он весь дрожал от холода. Мало подложил снегу снаружи — подумал он грустно — ветер проходит под шкуры. Потянувшись на сторону, он взял сухих дров и подкинул их на огонь, и, когда вода вновь вскипела, снял чайник, вытер рукавом чашку и стад жадно пить, посасывая перед каждым глотком замусоленный кусок сахару своим беззубым ртом. Ему было жалко себя за свою одинокую сирую старость и горько, что самому приходилось ставить чайник на огонь и что ноги у него мокры и нет больше жены, которая бы сняла с него обувь на ночь и положила бы туда сухой трухи или моху, а утром подала бы ему высохшей. Ему было жалко себя, а — главное — непонятно: почему жизнь пошла так, как раньше совсем нельзя было ожидать?

Всю жизнь он жил, как подобает самоеду, и по праву расчитывал на другую старость. У него было стадо оленей, он кочевал с ним по тундре, выбирая лучшие пастбища, знал все нужные приметы: когда пойдет дождь и когда нужно ждать бурана, где опасаться волков и комаров и как резать и холостить оленей, как обучать молодых езде, как ставить капканы на лисиц и песцов, — он знал все это и делал исправно, как его отец и дед, был женат и имел сына, — и все-таки под конец вышло совсем иначе, чем он предполагал. Пришли в тундру вдруг какие-то люди — не купцы, которым он раньше продавал пушнину и которые тоже вдруг куда-то исчезли, — а совсем другие люди, ничего не понимавшие ни в оленьих шкурах, ни в пушнине. Они собрали самодов в кучу и один из них кричал много слов — очень много слов! — и можно было только понять, что он сердится на царя и что самоеды тоже должны были на него за что-то сердиться. Потом эти люди сосчитали у самоедов всех оленей и сказали, что оленьи стада берет у самоедов новый Большой Начальник, который теперь вместо царя, и что нельзя больше бить оленей на пищу без его позволения. Глупые люди, — что-же тогда есть самоеду? Они смешали потом всех оленей вместе и разбили их на новые стада, — так, что никому из хозяев не достались его прежние собственные олени, и приказали самоедам — и ему тоже — исправно пасти новое стадо, продолжать бить зверя, только настрого запретили продавать шкуры, а велели сдавать их в тот дом в городе, где раньше жил царский начальник, теперь-же сидели эти новые люди, все время что-то писали, и даже ему давали подписывать какую-то бумагу, когда он привозил им шкуры. Подписывать он не умел и с трудом поставил крест внизу. Над домом этим появилась большая палка и висел на ней всегда кусок красной материи, такой большой, что из него можно было-бы сшить две рубахи. Золотые знаки блестели на материи и два изображения: кривого ножа, каким режут русские крестьяне высокую траву на полях, чтобы делать потом из нее муку,

---

*) Рассказ вышел по немецки Copyright Michael Beckstein-Verlag- München).

и той вещи, которой русские и зыряне забивают гвозди на постройках. Жители города — он многих знал из них — боялись этих людей из дома с красной материей, в кожаных куртках и с оружием на боку, боялись и не любили их, но когда те были рядом, то говорили им неправду, кланялись и хвалили. Назывались эти люди «коммунисты» или «большевики». Эти слова запечатлелись в его памяти, хотя он и не знал, что они значили и не могбы даже выговорить.

И с тех пор все пошло иначе в тундре! Много стариков самоедов умерло, стада стали редеть от падежа — олень привыкает к хозяину, — еда пошла плохая — одни ягоды да грибы; за пушнину новые люди ничего не платили, даже пороху не стало вдоволь, — но все это никло перед последней бедой: люди эти околдовали его сына, и он ушел к ним в город, как много других самоедских сыновей, бросив тундру, чум, мать и отца . . . Уж целое лето прошло с тех пор! . . . Старуха — новая слеза вышла из глаз самоеда и покатилась по старому следу — умерла, нето от тоски, нето от голоду —, и вот он остался один.

Уже много раз он ездил к тем людям, жаловался, что стал стар, и слаб, и одинок и просил отдать сына, но те только хлопали его, смеясь, по плечу и говорили, что сын его учится в Архангельске — Большом Городе за тундрой. Чему может научиться самоед в Большом Городе? Он сам-бы обучил сына всему, что надо знать в тундре. А теперь сын его будет плохой хозяин — погубит стадо, волки загрызут оленей или комары загонят в море, он не будет знать, как обучать оленей езде, как разбивать чум, чтобы не проникал туда ветер, где искать зверя . . . Он много раз думал обо всем этом в одиночестве, в великой тишине снежной пустыни, и ему казалось, что надо было лишь съездить в Большой Город, повидать сына и тогда тот вернется домой в тундру и все снова будет хорошо. Желание давно уже перешло у него в убеждение и охватило его сегодня, после того как он заснул над огнем, с особенной силой; он решил ехать немедля. Стадо давно двигалось к югу от ледяного моря и подошло совсем близко к Руси: тундра кончилась и начинался лес — не больше чем два солнца езды до Большого Города. Те люди запретили ему, правда, уезжать из тундры без спросу, но они были глупые люди и никогда не узнали-бы по шерсти ездовых оленей, что он ездил в город, хотя узнать это было так просто.

Самоед приподнялся, кряхтя, на четвереньки, достал в изголовьях лучшую свою малицу и мешок с пушниной, откинул полость и выполз на дрожащих руках наружу. Олени паслись на снежной долине у опушки леса, обнесенной ослепительным солнечным блеском; они зарывались острыми мордами глубоко в снег, добывая мох; пышные рога, покрытые инеем, играли и лучились, качаясь, в седом воздухе. Молодые олени резвились стаями, далеко закидывая назад головы при беге и вздымая синюю снежную пыль. Сердце старика задрожало от радости, как дрожит сердце каждого самоеда при виде стада оленей, но тут-же сжалось от тоски: 300 голов было в его стаде — это знал самоед —, но, хотя он уже и успел выменять обратно часть своих прежних оленей, после того как те люди смешали все стада, много еще оставалось у него чужих и много еще собственных не вернулось. И это сознание было горько и рождало то чувство смутной неуверенности и неудовлетворенности, что мешало ему жить последнее время.

Он обошел чум, подбросил снегу к бортам, посмотрел на сани — они были в исправности — и начал рыть снег неподалеку от чума. Скоро он вырыл маленький боченок и положил его сзади на сани под оленью шкуру. В боченке лежало замороженное оленье мясо — остатки от туши тайно убитого им оленя. Подумав немного, он развязал мешок, что вынес с собой из чума, и потряс навесу: несколько пушистых шкурок молодых песцов нежного, голубовато-серебряного цвета выпали ему на руки вместе с огненными шкурами лисиц в черных разводах. Он давно уже убил зверей, но не сдавал шкурок в дом с куском материи на палке — он знал, что в Большом Городе за тундрой люди очень ценят эти меха — нестоющие по его мнению, ибо они не выносили ни одной капли дождя, но люди в городах были вообще неразумны и непонятны ему во многом. Он перевернул шкурки на руках, посмотрел на них внимательно, засунул в мешок обратно и положил его на сиденье. Потом он вошел в стадо, поймал лучшего передового оленя и тройку ездовых, вывел их, запряг в сани, кликнул собаку.

Все было готово к езде. Он надел свою лучшую малицу из шкур молодых оленей, откинул капицу назад и посмотрел последний раз на стадо: оно паслось покойно, блистая рогами в солнечных лучах; лишь собаки, мохнатые, круглые как шар, следили за его сборами. Собаки знали свое дело — он мог спокойно оставить стадо на несколько дней. Он опустился на край саней, взял в руки хорей и тронул оленей. Сторожевые собаки решили тотчас-же, что хозяин меняет кочевье и что надо помогать ему гнать стадо, — они бросились с ожесточенным лаем на крайних оленей и стали рвать их за ноги, но самоед прикрикнул на них, свистнул по-особенному, и собаки присмирели . . . Он въехал в лес, где начиналась конская дорога в город меж темных мохнатых елей, застывших под тяжкими ношами снега. Ветер дул ему в спину, а тело искало опоры и, не находя, бессильно никло, голова клонилась на сторону, ноги, свисавшие с края саней, были словно чужие, и он не знал, как лучше их сегодня пристроить; ему хотелось вообще лечь и лежать у огня на шкурах, но надо было ехать — добывать сына.

2.

Самоед въехал в Большой Город. Он бывал в нем много раз в прежние годы для продажи пушнины, а также, когда, под конец зимы, русские праздновали здесь один праздник и непонятно веселились: мазали лица краской, надевали одежды с колокольчиками и нанимали его катать их по городу на оленях — и хорошо платили. Здесь были у него прежде друзья — купцы бородатые, тучные и красные, как медный самовар люди, из которого они поили его чаем. Он любил этот напиток, отогревавший кости, которого теперь уж давно не пил, любил пожалуй больше, чем водку, ибо водку нельзя пить каждый день, а чай всегда можно. Купцы поили его и водкой и надували его немного при покупке пушнины, но они были добрые люди и хорошо платили, и он был ими доволен. Последний раз он приезжал сюда позапрошлой зимой и не нашел больше своих знакомых. В лавках их не было больше никаких товаров, и сидели там какие-то новые люди и писали в книгах, как те, что приходили к ним в тундру и смешали всех оленей, они отобрали у него всех песцов и ничего не заплатили и даже сказали, что накажут, его, если он еще раз приедет продавать пушнину без спросу, и что его старые знакомые — купцы — плохие люди. Ему казалось, что купцы были лучше, чем эти новые люди, но он ничего не посмел ответить. И теперь, въезжая в город, он смутно ожидал, не произошла ли перемена на старое и не выскочит ли, как прежде, из лавки купец, — звать его пить чай. Но из лавок никто не выбегал, — значит перемены не произошло. Он соскочил с саней, взял под ремень оленей и пошел с ними рядом, переваливаясь на кривых ногах, весь покрытый шкурой, как зверь. Люди спешили куда-то по улицам, и были у них не беззаботные лица, как прежде, а казалось, гналась за ними какая-то беда и они торопились от нее убежать. Никто не останавливал его и не заговаривал с ним, как бывало, и не гладил его оленей и не нанимал покатать на санках. Эти люди наполняли его сердце жалостью: они были плохо одеты и явно мерзли — почему-то никто из них не имел больше меховых шуб — но зато все они несли подмышкой туго набитые черные папки, и он думал, что все люди стали «коммунистами», ибо только «коммунисты» таскали с собой столько казенной бумаги. Раньше он слыхал лишь об одной «бумаге», что дал самоедам «Царь Иван» на вечное владенье тундрой, и у него было о «бумаге» представление, как о чем то весьма важном, недоступном и нерушимом . . .

Он шел, переваливаясь на кривых ногах, и все яснее ему становилось, что в городе — плохо, люди торопливые, злые и что из его поездки, вероятно, ничего не выйдет, и сердце его холодело. Железные машины пробегали со звоном по улице, и олени пугливо шарахались от них в сторону, так что он едва мог их удержать; он сам не выносил этого непокоя, шума, дымного воздуха и тесноты и презирал втайне городских людей, не умевших жить: зачем они теснились друг на друге, когда в мире было столько простора? Он остановился и поискал глазами человека, который был-бы похож на прежнего купца. Один показался ему подходящим.

«Хозяин!» — закричал самоед, придерживая оленей и поклонился низко.

Человек остановился. Он поклонился еще раз, — тот подошел ближе.

«Хозяин», заговорил быстро самоед, «сына моего увели в Большой Город . . .» Он хотел сказать «коммунисты», но не мог выговорить — «остался один . . . стар, слаб . . . Смерть придет, некому отправить в большую дорогу . .

И он посмотрел на «купца» глазами собаки, но тот ничего не отвечал.

«Если господин желает, можно покатать его деток и хозяйку на оленях.» Он снова поклонился низко. «Самоед стал стар — нельзя ему быть одному . . .»

Ему казалось, что человек не верит его словам и потому не говорит ему, где искать сына, и он старался снова показать, что он стар и слаб и заснул перед очагом, что олени пропадут без ухода, но человек не понимал его речи и решил в конце концов отправить его к постовому. Он довел его до ближайшего милиционера, поговорил коротко и тот махнул самоеду рукою, приглашая следовать за собою.

«Только бы поскорей управиться», подумал самоед, а то олени весь день останутся голодными.

Они подъехали к какому-то дому, он привязал оленей к столбу и вошел за постовым в комнату, где было много дыму и за столом сидел начальник со знаками. Его спросили об имени.

«Степан Лямбей», отвечал самоед и начал жаловаться, что у него взяли сына и увели в город и смешали оленей, и что он стар и одинок и просит вернуть ему сына и наказать тех людей. Начальники долго говорили между собою, а потом один из них, видно главный, снял со стены какую-то черную трубку, та зазвонила, и он закричал в нее, и самоеду стало страшно и смешно, как кричал начальник и менял при том лицо — как-будто ему отвечали, а стояла в комнате полная тишина. Плохо, плохо! — подумал старик с грустью. Но начальник вдруг пришел в себя, перестал кричать и сказал постовому: «Поезжай с ним. Сын его здесь в партшколе, в интернате живет.»

Постовой махнул рукой: «Идем, нашли твоего сына.»

Он стал кланяться и благодарить, хотя и не верил еще им, сказал, что убьет им песцов и покатает детей на оленях, но его не слушали. Начальник поменьше вышел вместе с ним,

и они поехали по улицам, где звенели железные машины, катясь по грязному снегу. Опять они подъехали к дому за высокой оградой, начальник сошел с саней и скрылся надолго за дверью; самоед стал думать уже, что его обманули, и хотел снова искать человека, который походил бы на старого купца, как вдруг ворота отворились, и на улицу вышел его сын — да, его сын, хотя и одетый, как русский в кожаные сапоги и брюки из сукна, и со звездой на груди; даже собака узнала его и покатилась ему под ноги с громким лаем.

«Маленькое мое!» проговорил нежно самоед и хотел броситься сыну в ноги, как собака, но не посмел; а тот молча стоял в воротах и смотрел исподлобья.

«Что надо?» спросил он вдруг резко: «Зачем приехал?»

Старик заговорил быстро о своих сырых ногах, о том, что он сам ставит себе чайник, что он один в чуме, — он хотел рассказать, как заснул над огнем, но постыдился признаться, — что ему нечего есть, и нельзя больше бить оленей. Слова теснились у него в горле.

«Олени не твои!... Олени принадлежат всему народу...» — оборвал его сын — в глазах его сияла страсть: «Теперь все общее... Не езди больше сюда... Я не хочу быть дикарем и не вернусь в тундру. Я хочу быть культурным человеком и бороться за коммунизм и за свободу народов!...»

Он кричал сердито непонятные для старика слова и все порывался уйти. Тогда старик взял мешок с саней, вынул шкурки песцов, лисиц и горностаев и сказал сыну, что ему пора уж жениться — вот выбирай, какие шкуры подарить невесте на обшивку подола и ворота у богатой белой малицы, что лежит готовая в чуме, а остальное можно будет променять на чай и на водку и пряники для свадьбы. А пойдет за него богатая невеста и приведет с собой много оленей в приданое, и будет ему принадлежать большее стадо, и станет он главным в чуме и будет кочевать со стадами по всей тундре...

У молодого вспыхнуло лицо, он посмотрел бегло на шкурки песцов — голубовато-нежные, как зимнее небо или тундра в сумерки, и его потянуло мощно назад, в свой прежний мир. Белый сверкающий простор вдруг встал перед ним, он почувствовал ремень оленьей упряжки в своей руке и видел синие тени оленей, стремительно мелькающие по снегу, он видел огонь очага в чуме и ощутил тот блаженный покой, что охватывает тело, когда лежишь на шкурах, а кругом стоит великая тишина, какой совсем не знают в городе. Детство мелькнуло перед ним, стремительно, будто пронеслась птица, игры на снегу — он стоял, наморщив лоб, а отец тянул его за руку, и он сделал уже шаг...

В этот момент подошло несколько девиц к воротам здания, и видение его рассеялось. То были знакомые ему студентки из женского интерната партшколы, молодые комсомолки, и между ними та, при виде которой у него всегда приостанавливалось сердце — маленькая, русоволосая, как-то особенно играющая телом, с пышной грудью, проступавшей сквозь все одежды. Она посмотрела сбоку на его отца, на него самого, сказала что-то подругам, и все они громко захохотали, уже войдя в калитку. У него помутилось в голове.

«Я женюсь на русской», прохрипел он, отступая назад во двор, и захлопнул ворота.

Она была еще во дворе — одна — и смотрела на него исподлобья с лукавой улыбкой. Так смотрела она на него всегда, и от ее взгляда у него горело сердце, горячий ток бил по всему телу, как стрела, останавливая дыхание. Ему хотелось выть и кататься по земле, когда он видел, как ее друзья — студенты, русские, как и она, — обнимали ее, хватая со смехом за груди, как впрочем и других ее подруг; он знал, что парни ходили по ночам в женский интернат. Обнять при всех русоволосую он не решался, но говорил ей уже много раз наедине: «Я к тебе приду», она же только хохотала молча; и когда он пробирался ночью, весь дрожа, к ее комнате, то она была или не одна, а с подругой, или дверь стояла закрытой и он думал, что к ней никто не ходит. Припав глазами к замочной скважине, он подолгу оставался у дверей, наблюдая ее движения, и видел раз, как сидела она, уже раздетая ко сну, на краю своей кровати, свесив на пол голые ноги, и потом одним быстрым взмахом подняла их на постель — перед его глазами мелькнули вдруг эти розовые круглые ноги, налитые груди, голые плечи — и быстро накрылась одеялом. Он выбежал на улицу и всю ночь бегал без шапки по городу, как пьяный.

«Зачем ты смеешься?» с трудом выговорил он, тесно приблизившись к ней и всем существом своим ощущая ее присутствие, даже ее запах белой женщины.

«Вот дурак!... Почему я не могу смеяться?...» Она передернула плечами и спросила, помолчав: «Это твой отец там был? Звал тебя обратно? Один из ваших ушел отсюда в прошлом году — не вытерпел, вернулся в тундру.»

«Я не вернусь!» — прохрипел он: «Я люблю тебя и хочу на тебе жениться...»

«Фу, как старо!» протянула она, делая гримасу. «Жениться? — Мы, коммунисты, признаем только вольную любовь.»

Ее забавляла эта упорная страсть дикаря, ибо во всех других случаях с другими студентами, русскими, у нее всегда и очень быстро кончалось одним и тем же и она относилась к этому уже совсем привычно, почти как к принятию пищи. Будь этот самоед русским, она давно-бы уже дошла с ним до этого кон-

ца и новый, вероятно, уже сменил-бы его, но тут мешало различие расы, смутное отвращение к его телу и объятиям, и эта неразделенная страсть длилась.

«Если бы ты любил меня», — ее забавляло дразнить его, — «то мог бы подарить мех на воротник. Я видела у твоего отца», — прибавила она и вошла в здание, махнув юбкой. Он посмотрел ей вслед и кинулся за ворота. Отец его еще стоял там, с непокрытой головой, с мехами на вытянутых руках .

3.

Старый самоед ехал по тундре обратно на север. У него было легче на душе: сын взял шкурку горностая и несколько песцов и обнял его, убегая . . . Правда, сын ничего не сказал при этом, но для чего ему понадобились меха, если не подарить начальнику, чтобы тот отпустил его снова в тундру. На улице в городе самоед встретил старого знакомого купца, и тот выменял ему тайно на песцов чаю, муки и несколько бутылок водки. Все это добро вез он теперь с собою, и сознание этого было ему чрезвычайно приятно. Когда вернется сын, можно будет теперь сыграть отличную свадьбу и позвать многих самоедов — друзей. Сначала надо будет зарезать семь молодых оленей и, когда гости вдоволь насладятся сырыми оленьими мозгами и мясом, макая куски в свежую, еще дымящуюся кровь туши, поднести им по стакану или по два водки — больше, пожалуй, не выйдет, подумал он озабоченно — затем устроить гоньбу оленей. Он покажет свое уменье в управленьи упряжкой на скорость и на ловкость: не собьет ни одной бочки, поставленной на пути, — а вечером все лягут в чуме у огня на шкуры и будут слушать сказки . . . Сердце его замирало от счастья.

Иногда брало его все-таки сомнение, но он знал теперь, в чем была его ошибка, и ехал ее исправить: он обидел, должно-быть, своих богов. Правда, русские сказали ему давно уже, что их боги сильнее и добрее, чем у самоедов и дали ему медный крестик на шею — он пощупал его рукою, — и учили, что их бог не требует жертв: нужно было только никого не обижать и каждое утро и вечер молиться, прикладывая руку ко лбу и к сердцу, прекрасному белому младенцу и его очень грустной матери и святому Николаю, чье изображенье он видел у русских в церкви. Он молился всем им, но плохо верил в эту молитву, ибо в душе был уверен, что русские — хитрые и скупые и потому не хотят ничего давать своим богам. Он думал также, что у матери прекрасного младенца, верно, много своего горя, раз у нее такие грустные глаза, и что у нее уж очень доброе и жалостное лицо, а младенец еще мал и неразумен, и что настоящий Бог должен быть страшнее. Он не забывал, правда, совсем и своих богов и приносил им иногда жертвы, но были то лишь одни пустые бутылки и банки, разорванная упряжь и расстрелянные гильзы; несколько раз он даже обманывал богов, обещав им перед охотой живую жертву, и не приносил ее после; и вот боги разгневались: отняли у него сына и хорошую жизнь. Боги требовали кровавой жертвы, и самоед решил ее принести.

Он ехал по тундре уже второй день к священному холму, на котором стоял самоедский бог Нум. Было морозно, олени бежали прямо по целине без дороги, сани раскатывались с хрустом. Тундра лежала кругом в молчании, как застывшее во время бури море. Снег ослепительно искрился, будто озаряемый изнутри тысячами огней. Солнце блекло светило из-за седых облаков, едва разбивая их. Иногда оно совсем скрывалось и на тундру ложилась пелена, словно ее посыпало синим песком, потом оно выходило вновь, пелена сокращалась, сворачивалась и убегала. Вдалеке у края тундры уже вставал священный холм в желтом блеске заката.

Дрожь охватила старика, когда он приблизился к холму и различил бога: деревянный чурбан с человеческой головой, вбитый в землю. Увешанный лоскутьями из ситца и шкур, он стоял одиноко на вершине холма, обнесенный лучами вечернего солнца, как нимбом, — страшный бог самоедов Нум! . . .

Самоед пал ниц на сиденье и начал делать круги вокруг холма. Он сделал семь священных кругов, остановил оленей, привязал к саням собаку и взошел на холм с песцом в руках. Силуэты человека и чурбана резко отразились на пылающем горизонте. Человек пал перед чурбаном на колени и просил, бормоча заклинания, о прощении и возвращении сына; так падал он семь раз, с трудом подымая старческое тело. Потом он повесил песца на чурбан и сполз вниз.

Олени лежали на снегу, пар еще шел от них. Самоед сел молча на сиденье и ударил хореем в бок первому оленю. Передовой не подымался. Старик соскочил в испуге с саней и взял оленя за морду. Нет, олень не умирал, как он подумал вначале, но — он не хотел все-таки вставать. И самоед понял: он думал отделаться песцом, а Нум хотел оленьей крови! Нужно было смириться перед требованием бога.

Самоед выпряг медленно заднего оленя, взвел его на холм к чурбану и всадил одним ударом нож под сердце зверя. Олень упал с храпом на передние ноги, роя головой снег и ударяясь рогами о чурбан. Из раны шумно вырвалась кровь. Самоед подставил нож под струю и вымазал кровью губы чурбана. Жертва была принесена. Он отрезал голову и оставил ее лежать на снегу, а туловище взвалил себе на плечи и спустился пятясь к саням, где билась собака, почуяв кровь.

Отдохнувшие олени встали, и он поехал к чуму, радостный. что удовлетворил бога. Он ехал, иногда оглядываясь назад. Одиноко тем-

неющий на ледяном небе чурбан становился все меньше и меньше. Когда тот совсем исчез, старик отрезал кусок мяса от туши и съел его жадно, достал бутылку водки и, выбив пробку, сделал глубокий глоток из горлышка. Он устал, давно не ел свежего мяса, и водка сразу захватила его. Тело его словно потеряло вес, мир сделался еще шире, а перед глазами крутился светлый круг, и в нем вставала его жена и он сам — оба молодыми ,и сын, и старые друзья-самоеды, которые давно уже умерли и теперь опять были живыми, и он не знал толком: прошлая ли то была жизнь, настоящая или будущая? Но было ему очень приятно.

Олени шли легко, ровно. Солнце уже село; кровавая полоса переливалась на горизонте, сливаясь с тундрой, ближе лежали синие застывшие валы, зеленый лунный свет лился на них мертвым потоком. Это был его мир, в котором он провел всю свою жизнь и который грозил было распасться, но теперь вновь стоял крепко. «Что хорошего у меня?» — радостно подумал самоед и вспомнил тотчас же: «Ах, да — сын возвращается в тундру и водка в санях.» Он сделал новый глоток и запел песню о том, что думал и видел: «Тысяча голов у меня», пел он, «а сын — богатырь, женится и приведет богатую невесту и новых сто голов. Упряжка моя быстрая, как птицы, завтра я приеду в чум, распрягу оленей, мясо есть у меня, в чуме горит огонь...» Так пел он и блаженно улыбался.

Между тем к холму вышел охотник на лыжах с ружьем и собакой. Он увидел песца на чурбане, поднялся, снял шкуру, положил ее себе в сумку и пошел дальше; собака покатала оленью голову по снегу и побежала вслед за хозяином. К вечеру на холм взбежали голодные волки. Они растерзали голову оленя и, обнюхавшись, быстро побежали по следу, оставшемуся после самоеда.

Утром взошло солнце — круглое и красное, как медный щит, облекая тундру багряным жутким светом.

Вой поднялся навстречу солнцу. У опрокинутых саней, среди оленьих рогов, торчавших из взрыхленного снега, и свеже обглоданных костей, разорванных мехов и ремней, сидела собака и выла. На снегу рдели ярко-красные пятна, будто какая-то щедрая рука разбросала здесь обильно маки. Собака лизала эти кровавые цветы и выла еще упорней, а вокруг по необозримой снежной долине кружились в вихре снежные столбы, как белые привидения.

П. Парус

ИЗ ПРОШЛОГО

Мне снится тот памятный вечер:
На озере плавал туман,
Твои обнаженные плечи
Я с дрожью к груди прижимал.

Ударом мелькнувшей калитки
Нарушен вечерний покой.
С упреком застывшей улыбки
Мерцала луна надо мной.

Ушел я, не вымолвив слова,
За мной побежали года...
И знаю — не встретимся снова
С тобой у плетня никогда.

Мне снится тот памятный вечер,
На озере плавал туман,
Твои обнаженные плечи
И синий, как дым, сарафан.

Н. ГОРДИЕВСКАЯ

В СУМЕРКАХ ЦЕРКВИ

В сумерках церкви Ваш профиль усталый
Стал мне понятен и мил.
В сумерках церкви звучали хоралы . . .
Кто-то слезу уронил.

Грустно и мирно смотрели иконы,
Мнилось, — грустя обо мне.
Мнилось, хорала печальные стоны
Слышно на той стороне . . .

Кротким сияньем облиты кварталы.
Вечер волненье смирил.
Профиль задумчивый, профиль усталый
Стал мне понятен и мил!

К.

ЗАВЕЩАНИЕ

Как старый амстердамский ювелир,
Граню я слов упрямые каменья:
Рубин признанья, аметист забвенья,
Неразделенной нежности сапфир.

И в гранях их трепещет целый мир!
О, радость медленного превращенья!
Ты слышишь сердца моего биенье, —
Ведь этот труд — мой сокровенный пир . .

Пускай в веках, чьи строги к нам законы,
Он не украсит царственной короны,
Не заблестит в тиаре иль венце . . .

Довольно мне, коль миг его не старит,
Коль юноша его в простом кольце
В счастливый час возлюбленной подарит.

*

КОГДА ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ

Милый мальчик, пойми: наша жизнь — бессердечная шутка.
Когда падают листья в осеннюю вялую тишь,
Тебе часто бывает и страшно, и больно, и жутко —
Ты меня призываешь безмолвно и где-то грустишь.

Вот опять у иконы склонюсь головой молчаливо.
Буду видеть твой образ в церковной тускнеющей мгле.
А за узкими окнами красного неба разливы
Мне напомнят о бедной, далекой и милой земле.

Милый мальчик, пойми: то была лишь пустая минутка —
Поцелуй и дыханье чужой, непонятной души . . .
Ведь порою бывает так страшно, так больно и жутко,
Когда падают листья в чужой, неприглядной глуши!

*

Ты прячешься за черные ворота,
Когда я чувствую твой взгляд у своих плеч . . .
Жестокий кто-то, непокорный кто-то
Тебя не хочет для меня сберечь.

Ты ревностью ненужною встревожен,
С боязнью видишь каждый поворот, —
Не бойся, милый! Ни один прохожий
В моих глазах улыбки не прочтет.

На площади, где жалкий, тощий месяц
Пытался нашу тайну разгадать,
Ты вдруг исчез . . . Часы пробили десять . . .
Но я и десять лет покорно буду ждать.

Мои года перешагнут за тридцать,
В твоих усах пробьется снегом грусть.
Нам часто юность наша будет сниться
Осенней яблоней, опавшей на ветру.

И если звезды догорят, как свечи,
О них, угасших, милый не тужи:
Мечтая о далекой, верной встрече,
Я буду ждать всю жизнь . . .

В. БАГЕНСКИЙ

ВАНЬКА

(Рассказ)

Я познакомился с ним в Париже.

История его не лишена интереса: граф по происхождению — он был сыном богатых помещиков. Отца его расстреляли, а мать с сыном были выгнаны из дома без всего, и она нанялась в поденщицы к батюшке. Но батюшку самого скоро выгнали и графиня нанялась к учителю.

Учитель был запойный и в один из своих »припадков«, озверев, бросился на графиню. Ваня, которому шел всего лишь одиннадцатый год, схватил кирпич и изо всех сил, сзади, ударил учителя по голове. Учитель упал и три дня лежал без движения.

Поденщицу-графиню с сыном заперли в сарай, так как учитель был местной величиной. К счастью череп его оказался крепким, и через три дня он очухался.

После этого мать с сыном выпустили. Тогда она нанялась к мужику, заразилась сыпняком и умерла в овине, а Ваня так и остался у мужика.

Ваньке настало сладкое житье. Одиннадцати лет он работал, как заправский батрак, нажил грыжу, распух от тюри, которой его кормили, и вшивую спину и грудь раздирал конской скребницей, когда было невмоготу, а потом выл в том же самом овине от боли и отчаяния. Зато вышел из него заправский парень — ходил почти весь год босой, поднимал за заднюю ось телегу. Деревенские мальчишки, которые не давали ему прохода, стали его бояться и уважать. Он научился исподлобья смотреть, буркать вместо того, чтобы отвечать — правда и вопросы-то походили скорее на брань:

— Ванька, куда, чортов сын, задевал метло?

— Куды задевал? Известно, — за печь . . .

— Да нету его там!

— Ну, нет, так нет-я почем знаю!

☆

Иногда к хозяину наваливали мужики. Появлялась самогонка. В избе стоял дым, чад, гогот.

— А иде же твой грахв?

— Грахв в овине.

Хозяин отворял дверь и орал:

— Ванька!

Являлся Ванька, останавливался в дверях, тер ногу о ногу, щурился, чесал спину.

— Чаво делаешь?

— Ничего не делаю . . .

— Што ж, балван, ничаво не делаешь, коли ко мне гости? — На, собери со стола, да живо у меня обертайси!

Ванька собирал со стола, ставил на стол и останавливался в углу у стенки.

— Ну, как, ваше сиять, жительствуете? — пел мужиченко, вытягивая шею, — небось, прежде-то почище живали . . . и лошадку свою имели — поню — и в костюмчики шелковые рядились и — глядишь ты — пильсины кушали? . . Хо-хо-хо! . . .

— Как же вам наше мужицкое житье пришлось? Не по ндраву?

Ванька сплевывал в сторону и молчал.

— Чего молчишь?! — Грозно кричал хозяин.

— А чего отвечать-то?

— Чего спрашивают, то и отвечать.

— Да, он, чай и сам догадается — чорта ли еще отвечать!

— Ну, ну, ну! Мотри! Забыл што-ль! Как я тебя прутом! — Отродие!

Что думал Ванька в это время — никому и в голову не приходило, и только, когда мужики, качаясь вываливались из избы (а в двери, как в баню врывался пар), хозяин садился на скамью, наваливался на стол и сдвигал брови.

Ванька неслышно ходил по избе, смахивая со стола в горсть, подметая пол, расставляя по местам табуретки и скамьи.

Хозяин мрачно смотрел на него захмелевшими, но острыми черными глазами, не сводя с него взора.

— Чего молчишь?

— А чего болтать-то? — Спать пора.

— Зна-ааю чего молчишь! Думаешь-погодитка-наша возьмет, тогда я их . . . шалишь брат-не возьмет! Поковыряйся браток, в навозце . . . знаю, чего думаешь! . . .

— Это вы, дяденька, все думаете. А мне думать некогда . . .

— Не бреши . а вот знай, что коли на вашу сторону пойдет — тут тебе от меня и крышка! Во! — Видал? . . . — хозяин брал со стола хлебный нож: — Вот, коли на вашу сторону пойдет

Ванька не боялся хозяина. Он брал у него

нож и всаживал в паклю меж бревен сруба. Потом подходил к нему, подсовывал подмышки руки и, натужась, подымал.

— Спать, хозяин. Неча тут глаза лупить. Одного керосина изожгли скольки. Ну, же.

Ванька вел его к скамье, на которой возвышался соломенный тюфяк и усаживал. Потом, упершись ногою в доски, разувал.

— Ложись, што-ль . . .

Хозяин валился на красную подушку и бормотал:

— И сволочь ты Ванька, и отродье, а люблю! Ей-ей! Вот подрастешь — Настю за тебя отдам . . . Пущай плодит . . .

— Ну, ну, ладно. Не видал тоже . . . добра? Настю! Вон светат скоро.

☆

Ванька тушил керосиновую коптилку и впотьмах шел засыпать лошадям. В конюшне было тепло. Две лошади стояли в стойлах и ждали дачи.

Ванька задавал корму, скреб лошадям пузо (в виде ласки) и шел в избу, потому что было холодно; — хватали уже первые заморозки за босые ноги, да за отмороженные уши.

В избе постилал на полу тулуп и, поджавши ноги, засыпал.

☆

Настя, которую в хмельные дни хозяин высылал со двора к тетке, приходила чуть свет, отпирала калитку ножом, подковырнув им крюк, и шла в избу.

Отворяя дверь, натыкалась на Ваньку, толкала его ногой в бок, и звонким голосом окликала.

— Чаво задрых, молодец? Вставай!

Ванька продирал глаза и сразу же начинал чесаться. Чесался долго, сидя на тулупе. Потом тер глаза, ковырял заструпевшие ноги и вспрыгивал. Подрагивая, выбегал на двор. Замерзшая земля набивала ноги.

Ванька осматривал во дворе все ли ладно, и, ухватив деревянные ведра и накинув тулуп, бежал к колодцу. Там уже стояла целая череда девок и баб, иной раз и мужиков с ведрами и коромыслами. Громыхал подгнивший вал со скрипучей рукоятью, деревянное ведро плюхалось в черное дно, и с шумом расплескиваемой воды ползло вверх.

Заспанные бабы и девки перебрасывались короткими замечаниями.

Тишь стояла в воздухе. Было еще темно, но сумрак редел, стояла предрассветная серь. В предутренней тишине особенно звонким казался говор и перебранки. Из труб уже поднимался кое-где дымок, по дворам мычала скотина и пели петухи. Мелкими шажками, стараясь не расплескать, Ванька бежал ко двору. Колодец был близко, всего за четыре двора. Ванька сливал воду в ушат, бежал с пустыми ведрами снова, снова наливал в ушат, пока не наполнял его всего. Тогда брал ведерко, загребал из печи золы и говорил:

— Настя, слей...

Ссыпав золу на обод колеса, подставлял горстью ладони. Настя тонкой струйкой сливала. Ванька тер золою руки, лицо смывал.

— Ну, скоро, што-ль?

— Сичас...

Тогда Настя окатывала его, выплескивая на затылок.

— Буде!..

Ванька фыркал и, согнувшись, бежал в избу вытираться.

— Не смей моим утиральником рыло утирать! Нашелся еще! На, вот. — И она швыряла ему какую-то тряпку.

Усевшись на корточки Настя накалывала большим колуном тонкие лучинки. Колун кланялся, как челнок, лучинки с тонким треском отскакивали и рассыпались вокруг нее. Она сгребла их все сразу и пошла в избу топить.

☆

На дворе совсем уже рассвело, выдоена была скотина, вычищена лошадь, той-же скребницей, которой Ванька по вечерам раздирал себе грудь и спину, гудела печь, бросая на затоптанный гостями пол красные вспышки. Хозяин спал, а Ванька и Настя не унимались. То и дело из избы во двор, со двора в избу, все бегом, — то Ванькина промелькнет рубаха и полосатые портки, то Настина коса ударит концом по косяку двери.

Столкнулись они на крыльце. Ванька из избы — на Настю и сшиб ее с ног. Настя озлилась, ухватила коромысло и — раз по спине. Коромысло пополам.

Ванька хохочет:

— Починила! Ну, хозяин тебе починит.

Настя защелкала языком. Только с ним и свяжись!

А на лавке уже продрал глаза хозяин.

— Тянька! Ванька коромысло сломал. Я его вдарила, а он сломал. — Хозяин мутно смотрел на Настю. Та молола, как мельница, носясь по избе, собирая отцу портянки, щепкой намазывая сапоги.

Потом уселась на пол и обернула ему ноги.

— Такая сволочь! Нет того, чтобы пройти, а все норовит плечом; все норовит плечом, окаянный... Дороги ему мало!

Хозяин сидел, свесив ноги, и молчал. В голове его гудел еще хмель. Космы взъерошились. Черная борода сбилась в ком. Он принял голенищи, обулся и тяжело встал.

— Где он, черт!

— Да во дворе.

И, подбежав, распахнула дверь и радостно зазвенела:

— Ва-а-анька, иди скорея! — Тя-нька кличет!

Пришел Ванька.

У хозяина глаза натекли от сна кровью.

— Ты што, сволочь, коромысло сломал!

— Да не я, — Настя...

— Врет, вот как перед Истинным! Вот, глазам моим лопнуть, тянька! Я иду, а он меня толкони, я ему — дурак, а он коромысло взял и... Я в избу, а он коромыслом-то, заместо меня, по крыльцу — и сломал.

— Врешь, это ты сломала!

— Сам врешь!

— Цыц, черти! Пшла! Ты што же это коромысла ломать?

— Да не ломал я... Ай батюшки. Да право же... Ай, не ломал!

Хозяин выпустил.

— Я вот тебя ужо прутом... Вечерком...

— И следовает, тянька... и следовает. Потому, завсегда это у него: ноне коромысло, онодысь крынку разбил, и все со зла...

☆

А когда полудничали, хозяин опрокинул еще самогонки, что осталось и завалился.

Настя и Ванька примирились. Они сидели на полу в избе, упершись друг в друга босыми ногами, и тянули скалку. Ванька одной рукой, она двумя.

Ванька перетягивал.

— Врешь, не одолеешь! пищала Настя, захлебываясь от смеха. Но Ванька перетягивал.

— Давай левой. Ты тяни, а я левой.

Настя уперлась и потянула изо всех сил, а Ванька нарочно выпустил.

Настя треснулась головой об пол.

Ванька беззвучно хохотал, хлопая себя руками перекрест груди по плечам, а Настя сначала заревела от досады и злобы, потом схватила скалку и съездила его по голове.

Ванька побледнел, вскочил, схватил ее за косу, отнял скалку и начал бить. Настя взревела.

Хозяин продрал глаза и сел, не спуская ног на землю. Потом лицо его стало широко улыбаться.

— Так ее, Ванька! Хорошенько, хорошенько-ха-ха-ха!

Но Ванька бросил.

Настя ревела в рев, подбежала к косяку, оперлась одной рукой о косяк, запрокинула голову, ухватилась за нее другой рукой, и ревела во весь голос, звонко, сильно, закатисто.

— Ду-ше-губ окаянный! А-а-а! И вон эдак завсегда-а!... Житья от него проклятого не-ет! В отцовском до-оме-е!

Ванька вышел.

— Полно выть! Принеси-ка лучше прутов, мы его постегаем.

Настя тотчас перестала реветь. Лицо ее засияло злорадным счастьем. Она схватила нож. Потом со всех ног бросилась во двор, на огород; перемахнула плетень, — вниз и там, в лощине, нарезала (выбрала) с десяток прутьев, и побежала назад.

Ванька тихо сидел в сарае и тыкал шилом в доску.

Потом с крыльца его позвала Настя.

— Ванька! Тянька кличет! — Голос ее звенел.

Ванька всадил шило в доску и пошел.

Посреди избы стоял хозяин, расставив ноги. На столе лежали прутья.

— Скидай портки и ложись!

Ванька всхлипнул...

— Ну! Ну! Ну!

Ванька подошел к койке, расстегнул штаны и лег.

Настя тут же впилась ему в ноги, запуская ногти.

Хозяин взял прут и засвистал им в воздухе.

Ванька закусил губы и выл.

☆

А вечером, когда Ванька лежал на животе, пришла Настя. Она уселась над ним на корточки, и виновато протянула кусок черного хлеба, начиненного яблоками.

— Ванюша! На вот, возьми... пирожка! Это я у тетки скрала. Вку-усный! На!.. И она совала ему «пирог» прямо в рот.

Ванька протягивал руку, брал пирог и, не говоря ни слова, ел.

— Тетка намедни нанесла яблоков, в подвал. Я и говорю: давай теньке пирог печь... Сладкий пирожок вышел...

Ванька жевал.

— Тенька говорит, меня замуж скоро выдавать будут Догодя...

Ванька ел.

— Говорит — за тебя...

— Больно ты мне нужна была! — цедил Ванька.

— Отчего же?

— Оттого. Я жениться не буду. Я в армию пойду.

— Ваничка!

— Чего лезешь? Говорю в армию!..

☆

Однажды до зари, Ваньке преполовился тогда уже семнадцатый год, когда он, по обыкновению, нацепив ведра и накинув тулуп, бежал к колодцу, заволокло небо, и повалил снег.

Ванька подпрыгивал, подплясывал и, когда ушат до верху наполнился водой, был весь синий.

Он уселся на корточки перед печкой и дрожал, как пес, вернувшийся с болота, дул на руки, тер их одна о другую.

Настя полезла в шкаф, налила стаканчик самогонки, запрятанной подальше и поднесла.

Ванька взял стаканчик и без колебания опрокинул.

Потом накинув тулуп, пошел во двор, при-

волок старую порыжевшую сбрую, бросил ее на пол и уселся чинить, протыкая шилом, которое сам сделал из гвоздя, и собственного изделия дратвой.

Настя стряпала.

Сквозь пузырчатое, зеленоватое стекло, пробивался тусклый зимний свет.

☆

К вечеру вся деревня была занесена снегом. Он широкими волнами лег по полям, по деревенским улицам, зализывая черные стены изб большими белыми языками.

Сразу после этого ударил мороз, и наступила долгая русская зима. Об осенней распутице, грязи и непогоде сразу как-то забыли, точно и никогда их не было.

Хозяин принес Ваньке лапти и толстые онучи, на подобие подпруг.

Ванька обрадовался. Он похлопал лаптями один о другой и сказал:

— Важно! Вот это так обувка!

По этому случаю он хорошенько вымыл ноги горячей водой и золой.

Потом обулся и пустился плясать по избе. Он делал какие-то скачки, выкидывал ноги, на манер комаринской, потом повалился на лавку.

Хозяин сказал, что даст еще валеные штаны: — «погодя»

Настя засветила коптилку, поставила штоф, два стаканчика, хлеб, деревянную солонку с крупной зернистой солью, пяток огурцов и мелко нарезанную холодную говядину на круглой деревянной тарелке.

Прожгло Ваньку сразу, точно он проглотил пламень, и когда опрокинул он третий стаканчик, в голове у него пошел шум.

Он чавкал, грызя огурцы, обливался рассолом, съел всю говядину, которой ему никогда не давали, и вдруг почувствовал, что в жизни его произошла какая-то важная перемена.

Хозяин хлопал его изо всей силы по плечу, так что вздрагивало пламя лампочки и орал:

Э-эх-ма!

Настя сидела напротив, положив локти на стол и подперев ладонями подбородок, и смотрела Ваньке в рот, как отдувалась у него горой то одна, то другая щека.

Ванька глотал, вытягивая шею, давился, тянулся к стаканчику.

Потом неловко встал, опрокинув скамью, и вдруг запел прохрипшим голосом горланя:

Il était une bergere — Rond et rond petit patapon.
Il était une petite bergere, qui gardait ses moutons...
Elle fit un fromage du lait de ses moutons....
Rond et rond petit patapon...

Потом, покачиваясь, подошел к Насте, раскланялся почтительно, но с достоинством наклоняя голову и сказал отчеканивая слова:

— Mademoiselle, permette — moi de vous inviter pour un tour de valse, и раскланялся, отводя руку от сердца. Настя прыснула.

Хозяин хватился в бока и помирал со смеху.

— Вот, это, так гусь! На, тебе! По-своему залопотал!...

Настя хлопала себя по бедрам, складываясь от смеха пополам, Ванька семенил вокруг нее; наконец поймал, утвердился и завертел.

— Пусти, шут! — хохотала Настя — тоже еще-танцы танцевать!

Но Ванька разошелся. Он кружился один, уже без Насти, с какими-то приседаниями и нелепыми подскоками и, размахивая в такт руками, мычал какой-то вальс.

Настя из угла смотрела на него лукавыми глазами и ухмылялась.

Наконец голова его закружилась, и он, кружась, рухнул на пол, раскинув руки, и захрапел.

— Нализался!

Вечером Настя постелила рядом с ним тулуп, ухватила его за плечо и за ногу и, как куль, перекатила на тулуп. Потом сняла с него лапти и онучи, чем-то покрыла, загасила огонь и полезла на палати.

Она долго ворочалась и не могла уснуть. В избе было жарко, в две трубы храпели отец и Ванька.

Сквозь запотевшее стекло пробивался мутный свет луны.

☆

А ночью Настя вдруг пробудилась.

В лунном свете над полатями торчала лохматая Ванькина голова. Он улыбался, глаза его горели.

Настя хотела закричать, но что-то ее на этот раз удержало.

— Тебе чаво? — прошептала она, услышав храп отца.

— Н а с т я! — прошептал Ванька жутким шопотом.

— Пшел к лешему! чорт!

Ванькина голова поднялась еще немного над полатями. Тогда Настя высунула ногу и толкнула его в грудь. Ванька не удержался и загремел с лесенки.

Хозяин продолжал храпеть. Настя оперлась руками о край полатей и свесилась вниз.

— Ложись ты!

Прихрамывая, он поплелся к тулупу, завернулся и лег.

Оба не спали.

✶

На утро, когда Ванька продрал глаза, он заметил, что на дворе совсем светло. Он схватился за голову и, вспомнив о лошадях, побежал в конюшню, как был, проваливался

в снег. В конюшне было привычно-тепло, лошади мирно помахивали хвостами и хрустели. Он заглянул в кормушки, — корм был задан.

— Эво-на! — подумал Ванька и пошел обуваться. Потом взял ведра, но ушат оказался полон. Сгреб теплой еще золы, взял ведерко и вышел. В избу шла Настя в платке и валенках.

— Настя, слей . . .

Она молча взяла ведерко и молча, не глядя на него, сливала. Когда он кончил, она пошла в избу, сорвала с гвоздя свое полотенце.

— На!

Ванька взял.

—А я ноне того . . . проспал.

— Ноне ты не того, а вот ночью ты того. Бестыжая твоя рожа. — Тьфу!

Ванька пошел к ней.

— Настенька . . .

— Пшел к шуту! Ты! Мотри! — и она, ухватя кочергу, потрясла ею в воздухе.

☆

Многое его в этот день удивляло.

Настя не нажаловалась на него отцу, натаскала сама воды, задала даже корму лошадям, не разбудила его пинком или за волосы, как это всегда бывало, когда она вставала раньше его.

Настя на него точно сердилась, но как-то совсем по-иному, без обычного предательства, с тем, чтобы подвести его под розги, что она любила, казалось, больше всего на свете.

Ванька не раз ловил на себе ее взгляд и, в конце концов, потерял покой. Он точно впервые ее увидел, какова она. Глаза ее его жгли, коса точно дразнила своими взмахами. Он перестал слушать, что она говорит, а слушал ее голос, смотрел, как при ходьбе колышатся бедра и забирает плечо.

Он чувствовал ея присутствие там, за спиной, в другом углу избы; не глядя, видел, что она делает, как проворно ходят руки. И он вдруг оборачивался и снова ловил на себе ее взгляд . . .

Тогда он ни с того ни с сего выбегал во двор и долго стоял без зипуна и шапки или брал лопату и сгребал снег.

Его подмывало поговорить с ней, — но Настя не допускала.

☆

Изо дня в день отношения их натягивались, хотя вместе с тем, Настя переняла все его работы по дому, мела избу, таскала воду, отворяла ворота, когда въезжали и выезжали розвальни, но с Ванькой она почти не разговаривала.

О прежних их играх, которые бывали тотчас после затрещин и драк, и которые тем же кончались, не было и речи.

К концу дня она поволокла салазки, но когда Ванька побежал было за ней, она обернулась и закричала:

— Куды увязался? Пшел! — и пошла к девкам.

Но Ванька, все таки увязался. Он пошел дорожкой, а она — проезжей полосой, посреди улицы, к спуску, где парни и девки катались с гор.

Ванька тоже подошел к ним. Его встретили хорошо, но Настя молчала и с двумя девками уселась в салазки, и они понеслись, Бог знает куда, по откосу длинному и пологому, в конце которого одиноко торчала ветла.

Ваньку звали другие парни и девки, но он жался, потом повернулся и побежал домой.

Настя пришла поздно, под вечер. Стряхнула платок, разулась, молча стала хлопотать по хозяйству.

Ванька навинчивал хозяину новые подковки, когда вошла Настя. Дело не заладилось. Он покраснел, как мак, и пригнулся над сапогом, зажатым в колени.

Потом, вдруг поднял голову.

Настя тотчас отвернулась и, нахмурясь, отошла к печке.

Но Ванька видел — глаза . . . улыбку. Он знал, что, отвернувшись, она улыбается и сейчас . . .

Он снова опустил голову и стал неистово закручивать винт.

— Ишь чортов шуруп — не идет, как не идет!

Ответа не было.

☆

А на утро, по деревенской улице протрусила тройка гусем.

В санях сидел человек в барашковой шапке, укутанный в башлык и поверх шубы покрытый платком. На носу, на ниточке пенснэ.

А через полчаса прибежал мальчишка и запыхавшись объявил, чтоб Ванька сейчас же «бежал» с ним в канцелярию.

Ванька побежал.

Когда он возвращался, Настя стояла у ворот. Завидя его издали, она пошла в избу.

Вбежал Ванька.

— Ну-шабаш наше житье! В Москву еду, дяденька.

— Как в Москву?

— Истинный Бог! За мной из уезда комиссар приехал. Требуют меня в Москву

Хозяин побагровел, надел тулуп, шапку, и, ни слова не говоря, пошел из избы.

Настя вдруг упала на скамью, на стол и завыла.

Но это не был ее обыкновенный рев, она ревела всерьез, отчаянно и дико.

Ванька подошел к ней, положил на плечо руку, потом вдруг схватил, сжал и стал целовать-жарко, крепко, сдавливая изо всех сил, так что она едва бормотала:

— Вань, пусти . . . слышь . . . пусти . . .

Но отворилась дверь, вошел хозяин и человек, давеча протрусивший на санях.

— Эво-на! Видали?! — сказал хозяин. — И какой же он буржуй! Самый он настоящий мужик и есть.

Но человек загадочно улыбался и молчал.

— Бумага, товарищ. Из центра. Не могу ничего.

Он выложил на стол деньги, которые хозяин тут же взял и передал Насте.

— Собирайтесь, товарищ!

Настя засуетилась. Достала чистый белый платок, расстелила его на столе. Положила на него хлеб. Взяла у отца бумажки, свернула вокруг пальца собачью ножку, насыпала соли. Завязала платок узлом. Достала онучи.

Потом полезла на полати (все делала быстро, молча); спустилась с полатей с парой зеленых вязанных варешек, толстой крученой шерсти.

— Ванюша! Вон это . . . прими . . . для тебя вязала . . . думала . дай срок подарю . . . рученьки твои гре-еть . . . и завыла.

Ванька подошел к хозяину. Они обнялись и долго друг друга похлопывали ладонями по спине.

— Ну, ничаго, Ванька, ничаго . . .

Хозяин и приезжий вышли.

Настя бросилась к нему на шею, обвила, прижалась, судорожно целовала его.

Наконец, он отвел ее руки и выбежал. Сели в сани. Девка подвертывала одеяло.

Бубенцы зазвенели, и сани заскрипели по снегу.

Хозяин повернулся и пошел в избу.

Настя долго еще стояла, закусив пальцы, пока сани не исчезли в снежной пустыне.

☆

— «Ну, а дальше?» — спросил я, с любопытством разглядывая изысканно одетого молодого человека, непринужденно раскинувшегося в глубоких, старинных креслах.

— «Да,особенного ничего! Надо вам сказать что это-то и был тот самый пройдоха, которого ma tante подрядила здесь в Париже. Мы добрались до границы, там уже все было готово — у него всюду свои люди!

В Риге он меня одел и прямо к ma tante на Place des Etats Unis получил за это двадцать тысяч франков. А теперь, как видите, «блаженствую»; но что-то потерял: цивилизация меня гнетет . . . все-таки я дикарь! . . .

— Ну, а Настя? — осторожно осведомился я.

— Знаете — сказал он, коснувшись моего рукава концами пальцев — не будем-те об этом говорить! . . .

И он встал, показывая, что разговор окончен.

Е. КОВАЛЕНКО

РАБ

Догорает ли Запад лениво,
Розовеет ли утром Восток,
Я брожу меж иглистой крапивы,
Охраняя чужой водосток.

И в канаве, заросшей бурьяном,
Недоступый без всяких преград,
Я в дыхании приторно-пряном
Начинаю о чем-то мечтать.

И не вижу я больше крапивы
И в репейнике спину осла,
Слышу песни родной переливы
Под неверные взмахи весла.

Скорпионами жалят оковы,
Голова опускается вниз,
И в мечтах повторяется снова
Кем-то смятая прошлая жизнь.

Сердце бьется больнее и чаще,
По лицу разливается пот,
Слышу — шепчут сожженные чащи,
И разбитый звенит водомет.

И проходят, как в сказке, мгновенья,
На глаза опускается мгла, —
И внезапно несет пробужденье
Крик безумный чужого осла.

Синий сумрак подкрался лениво,
Бросил звезды на пыльный Восток . . .
Я брожу меж иглистой крапивы,
Охраняя чужой водосток.

С. РОЗЕНФЕЛЬД

Старость

Стихотворение в прозе

Послала мне судьба тяжелое испытание, возложив на мои согбенные плечи пятьдесят с лишним лет суровой жизни! Не вняла она моей мольбе и не отделила моей больной души от измученного тела. И вот я влачу свои дни без определенной цели, от восхода до захода солнца, встречая и провожая лучи его грустным взглядом. Каждый день я прощаюсь с землей; приветным взором ловлю наступление сумерок; с сумерками засыпаю до нового утра, утро встречаю со старческой усталостью. Но земля не открывает предо мною своей бездны и не берет меня в свои могучие объятия . . . О, как сурова жизнь, когда старость безжалостно вступает в свои права! Минувшее проходит предо мною в каком-то мрачном мираже . . .. Мириады мыслей громоздятся и, как волны морские, ударяют поминутно в мозг новым рельефом. Все мое прошлое в бесовской свистопляске кружится передо мною, и демон воспоминания злорадно дразнит меня . . .

Как несправедлива природа к роду человеческому! Трава имеет свое право юности. С каждым годом она возрождается к жизни — молодой, полной весенней неги и красы. Пусть она на время поссорится с солнечными лучами и пожелтеет, она все-таки выйдет победительницей! Деревья стоят и молятся солнцу сотни лет. С каждой весною цветут они торжеством молодости: вместо пожелтевших листьев покрываются свежим зеленым убором, разливая вокруг себя благоухание, и нет такой красавицы, которая не позавидовала бы их расцвету

Почему же мы, люди, не возвращаемся к цветущей молодости, а гибнем в хаосе нескольких десятков лет? Являемся на землю, как метеоры, что падают с высоты небес на землю, рассыпаясь в мелкий песок? Кто поймет скорбь и тоску падения?

На груди земли покоится, то, что недавно было сверкающим метеором, — груда раздробленных камней и праха . . . Так и мы, на старости лет, падаем в бездну, смешиваемся с вечностью. Все надежды разрушены, все желания и стремления погребены, а на кладбище увядшей молодости ставится одинокий крест, как последнее воспоминание о чем-то ушедшем, стертом навеки.

Но, может быть, это был только долгий летаргический сон? Может быть, это не жизнь, а какой-то неясный бред? Жизнь где-то перед нами, а это все — только преддверие жизни? Тогда что значит эта усталость, эта согбенность, этот полнейший упадок сил и хаос разрушенных чаяний и вожделений? А если мы очнемся от сна, — тогда, что увидим мы тогда: действительность или какой-то мираж?

О, как страшно мириться с мыслью, что это будет суровая действительность! Встанешь утром, подойдешь к зеркалу — и увидишь в его отблеске кого-то другого, совсем на тебя не похожего. Вместо черных волос узришь седины, цветы могильного уюта. Вместо ряда прекрасных белых зубов — пожелтевшую дряхлую кость, местами уже съеденную ржавчиной времени.

Кто же это, ты или не ты?

Если это ты, то кто же так горько подшутил над тобою, исковеркав твою цветущую наружность? Кому ты поверил свое единственное достояние — свою молодость? Времени? Самый ненадежный банк, который разрушает свои богатства, сжигает их на алтаре своем, превращает все в груды пепла и развалин! Богу? Где же тот Бог, что не слышит земных желаний, и чужны Ему все стоны и моления земли?..

Стою и смотрю на чарующий мир, и сердце мое обливается кровью . . . Все так прекрасно вокруг, все дышит таким неземным упоением, а я, согбенный, гляжу на бегущие в небе облака и как-будто в них ищу свою похороненную молодость! Вот промелькнуло предо мною маленькое крылатое облачко. В блеске солнечных лучей оно все зарделось, как-бы стыдливой краской, подобное юной невесте, что в подвенечном убранстве своем стоит перед зеркалом, любуясь собою.

И мне, глядя на него, становится веселее.

Вспомнились: моя минувшая весна, мои веселые нивы и зеленый бор, потоки маленького ручейка, цепи Карпатских гор и чудные меж ними равнины. В море золотых, еще не сжатых колосьев я погружаю свои мысли юности, ловлю музыку серебряных лучей солнца и тку из них венок будущих заманчивых надежд. Как пугливая серна, заглядываю в тайну будущности, смеюсь и пугаюсь чего-то. . .

А солнце довершает свой закат, прерывает мою дрему жизни. Просыпаюсь! Небо снова померкло. Я узрел действительность! Все минувшее — обман. Ложь! Действительность, страшная действительность впереди . . . Старость одиночество. И тоска. Тоска по хладной, суровой и одинокой могиле . . .

С. РОЗЕНФЕЛЬД

К ЖЕНЩИНЕ

Природа вам дала весенний нежный дар, —
Дала вам дар соперничать с цветами,
Дала вам красоту и прелесть; млад и стар
Покорно следуют за вами . . .

Дала вам смех ручья и чистый, ясный взгляд,
Венеры стан и тайну обаянья,
Улыбку детскую, — она сильней в сто крат,
Чем солнца вешнего лучистое сиянье.

☆

ТОСКА ПО РОДИНЕ

Мне снится мой край: золотистые нивы,
Широкие степи, безбрежность полей,
Зеркальный мой Днепр, и березы, и ивы,
И звездные ночи отчизны моей.

И в ночи бессонные, грустно внимая
Далекому эху минувших времен,
Я слышу призыв твой, отчизна родная,
Сквозь дрему твой вижу родной небосклон.

Я полон тобою, как юноша страстный,
Мечтая о милой. Всей скорбью своей
Молюсь и тоскую о нивах прекрасных,
О песнях родимых лугов и полей.

СТОН В ПУСТЫНЕ

Уныло я гляжу на наш грядущий день:
Ни солнечных лучей, ни светлых звезд мерцанья!
Вокруг нас — только мгла, и реет рабства тень,
Пласты глубокой тьмы и . . . тихое страданье . . .

Наш путь уныл. Нас смял жестокий враг.
Мы бродим средь чужих, лишенные уюта.
Нарушен наш покой, испепелен очаг.
Бездомны мы, как псы: нам нет нигде приюта.

Мы дали дань врагам, мы дали плоть и кровь.
Безумны были мы, идя на смерть без боя.
Осталась нас лишь горсть, но кровь струится вновь, —
Как-будто на земле без крови нет покоя!

МАРИНА САЯНСКАЯ

Миша из Карлы Марлы

(Отрывок воспоминаний)

С Мишей я встретилась еще в годы НЭП'а.

Он был, как и я, студентом экономического факультета »Карлы Марлы«; так мы, со свойственной юности пренебрежительностью, называли Московский Коммерческий Институт имени Карла Маркса. Сын бедного крестьянина, участник гражданской войны, весь какой-то большой и мило-неуклюжий в своем засаленном, вытертом, носившем следы многих житейских бурь полушубке, из-под которого, однако, выглядывал воротник неизменно чистой сорочки. — Миша бросался невольно каждому в глаза. Действительно, трудно было не обратить внимание на этого блондина — с таким русским чуть-чуть скуластым лицом, с непослушною прядью волос, постоянно падавшей ему на лоб; вся фигура его дышала спокойствием и уверенностью в себе, упорством и энергией. И все это соединялось с добродушною снисходительностью к окружающим, такой необычной в те дни: казалось, нет ничего, что могло бы его вывести из равновесия. Глаза его постоянно искрились легкой, иронической усмешкой, в то время как на тонких губах не было и следа улыбки.

Знакомство наше, совсем случайное, быстро и как-то незаметно вылилось в дружбу, несмотря на то, что мы с ним постоянно пререкались. Впрочем вообще трудно было найти двух более противоположных и разных во всем людей, чем были я и Миша. Он — »трудящийся«, хозяин настоящего и строитель будущего; я-маленький осколок дворянской культуры России, разметанной кровавым ураганом революции. Он — бывший рабфаковец — большевик; я-бывшая смольнянка и »нетрудовой элемент«. Он — трезво и твердо знающий, чего хотеть и добиваться; я-полная мучительных колебаний, жгучих сомнений. Самое странное в наших отношениях было то, что я, восемнадцатилетняя девушка, шла к нему со всеми своими »проклятыми вопросами«, а он чутко и бережно прислушивался к моим словам и с неизменной смешинкой в глазах на все давал ясные, как бы чеканные ответы. Правда, эти ответы редко меня удовлетворяли, я снова начинала горячиться, спорить, и всеже инстинктивно чувствовала, что мои сомнения Мише не безразличны, что мои беспомощные слова и еще более беспомощные переживания находят какой-то, пусть своеобразный, отклик в душе моего собеседника.

Помню: бегу я однажды в »Карлу Марлу«, спешу. По улице мне навстречу идет своей небрежно-ленивой походкой Миша. И левая рука, как всегда в кармане, а глаза уже смеются, издали завидев меня.

— »Здравствуйте, Марина! И куда Вы летите с такой поспешностью?«

— »Бегу сдавать французский язык.«

Миша на секунду призадумался:

— »Чудесно, и я с Вами: мне тоже нужно сдавать этот предмет.«

Я невольно остановилась:

— »Как? Так, без всякой подготовки?«

Миша движением головы откинул непослушную прядь со лба и коротко бросил:

— »Да, я говорю немножко по-французски. Для экзамена хватит .«

И он зашагал рядом со мною.

На экзамене я была поражена не только его знаниями, но и его безукоризненным французским произношением. Доцентка, нас экзаменовавшая, также не скрывала своего удивления: неоднократно глаза ее испытующе останавливались на скромном студенте в потертом, замызганном полушубке.

— »Откуда Вы так хорошо знаете язык?« — наконец спросила она.

Как бы нехотя он объяснил ей:

— »Во время войны я был послан со своей частью во Францию... Там и научился... был денщиком у одного гвардейского офицера-славный в общем оказался малый: увидел, что я быстро по-французски заговорил — ну, и сам еще подзанимался со мною... от нечего делать . .«

Свою удивительную способность к языкам Миша рассматривал, повидимому, как нечто совершенно естественное: нечего и слов лишних на такие пустяки тратить. Экзамен он сдал отлично.

Несколько дней спустя Миша появился с двумя билетами в кино и пригласил меня »составить компанию« ему. Это было его первое приглашение такого рода. К искреннему сожалению, мне пришлось отказаться: в этот вечер я была уже занята — обещала придти к подруге о чем и сказала ему откровенно. Миша невозмутимо выслушал меня; насмешливо-иронический огонек на мгновение мелькнул в его взгляде и сразу потух:

— »У Вас очаровательная манера ставить людей на место, Марина«, очень серьезно произнес он.

— »Вы ошибаетесь, Миша«, так же серьезно ответила я. »Это — только случайное совпадение. Вы сомневаетесь? Ну, хорошо: Вы увидете сами, что не правы — пойдемте вместе со мною к Нине.«

Смешинка опять мелькнула в его глазах:

— »С удовольствием . . .«

У Нины собралась большая, но тесная компания; преобладала молодежь, было шумно и оживленно. Студенты горячо спорили между собою, обсуждая вопросы мировоззрения, социальные и политические темы, увлекались, перебивали друг-друга. Один Миша не принимал никакого участия в прениях: казалось все это его совсем не интересовало. Он подсел к пианино и тихо наигрывал одною рукою вальс Шопена. Играл он хорошо, как впрочем, все, что он делал. Невольно мы все обратили внимание на него.

— »Браво, Миша!« — раздались голоса:

— »Сыграйте нам что-нибудь хорошее.«

Он поднял глаза, усмехнулся:

— »Нет, друзья, не просите: ничего не выйдет. Да я и играть, как следует не умею.«

Он медленно встал и присоединился к группе, сидевшей за чайным столом.

Отказ его вызвал у меня какое-то ощущение досады. Это чувство еще усилилось поведением Миши за столом: он сидел и небрежно пил чай, не вынимая левой руки из кармана. Что он это делал сознательно, было мне совершенно ясно. Неоднократно наши взгляды встречались, и нескрываемая усмешка в его глазах явно говорила мне, что мое раздражение его забавляет.

Было уже поздно, когда мы уходили от Нины. Миша пошел меня провожать. Молча шагал он рядом со мною.

— »Правда, было очень мило сегодня?« — сказала, наконец, я ,чтобы прервать тяготившее молчание.

— »Да, очень«, коротко ответил он.

— »Только Вы были не милы«, вырвалось у меня: моя досада на него еще не прошла.

— »Знаю, Марина«, спокойно заметил он: »За чаем, не так-ли?«

Какое-то непонятное чувство помешало мне сказать ему правду:

— »Нет, не это, Миша. Но почему Вы не хотели сыграть нам что-нибудь? Вас так просили, а Вы вели себя, как избалованная примадонна.«

Он молчал. Его всегда смеющиеся глаза были серьезны. Я чувствовала, что он хочет мне что-то сказать. Или мне это только показалось?

Мы вышли на Красную Площадь. Я не знаю другой, более красивой в мире. Да и слово »красный« значило раньше »красивый«, »прекрасный«, и не было только названием алого цвета.

А Красная Площадь прекрасна!

Величественно и безмолвно расстилалась она перед нами. Справа высились хмурые стены и башни Кремля, слева-залитое лунным светом Лобное Место, а перед нами четко вырисовывались на светлом фоне неба причудливые купола Василия Блаженного.

»Какая красота, Миша!«

— »Да, Марина . . . Не даром Грозный, как говорит легенда, повелел выколоть глаза гениальному Фиоравенти Чтобы тот нигде больше не смог создать такого совершенства, как этот собор . .

— »И знаете, Миша: мы, студенты в Томске, мы так мечтали учиться в Москве. Вся молодежь России стремится в Москву. И я знаю теперь, что не высшие школы и не знаменитые профессора влекут сюда, а сама Москва, эта Москва, эта площадь . . Здесь бьется сердце России! Здесь, на этой площади, Миша, Петр Великий, тогда еще юноша, рубил головы упрямым стрельцам и заложил основание будущей Империи Российской. Здесь, с кремлевской башни смотрел Наполеон на пылающую Москву и знал, что в дыму и пламени сгорает его гордая мечта о мировом владычестве. Здесь, за стенами Кремля . . .«

— ». . . куются ныне судьбы нового мира, Марина«, громко и четко прервал Миша.

— »Да, я знаю. Вы говорите: »Мы новый мир построим!« Но сможете ли вы это?«

— »Сможем, Марина!« Голос звучал уверенно, твердо.

— »Тогда . . . тогда вы должны уничтожить, сравнять с землею все это! Эта площадь — Россия, — Миша! Она больше, чем ваша революция!«

Он ничего не ответил. Мы молча шли дальше.

— »Видите, Миша: Вы говорите, что мы всегда спорим с Вами. Это не так. Вы твердо, обоими ногами стоите в новой жизни. Для Вас все ясно, все оправдано. Мне? Мне многое непонятно и чуждо. Но не думайте, что я отношусь ко всему отрицательно. Или можно оставаться равнодушной и не видеть, как тысячи и тысячи юношей и молодых девушек заполняют аудитории рабочих факультетов? Учиться для них — это смысл жизни. Ах, Вы сами лучше, чем кто-либо это знаете: ведь и Вы один из них. С каким упорством грызут они гранит науки! Я посещала их лекции и сама видела, как у многих от напряжения капли пота выступали на лбу Ведь они в два года должны усвоить то, на что нам давалось восемь лет . . .«

Миша рассмеялся:

— »Вы преувеличиваете, Марина, хотя, конечно, кое-что верно в том, что Вы говорите. Но не надо увлекаться: только треть из них достигает цели, две трети не выдерживают темпов. А это-потерянное время и потерянные деньги . . .«

— »Какой Вы трезвый, Миша! Вы — материалисты. Потерянное время, потерянные деньги — да разве в этом дело? Пусть многие не достигают цели, но зато сколько дарований, какие таланты выплывают вдруг на поверхность!«

— »Вы романтичны, Марина.«

— »Нет, но я многое вижу иначе, чем Вы. Может- быть, потому, что я женщина. И Вы можете сколько угодно иронически улыбаться: эта молодежь вызывает во мне восхищение и уважение, Миша. И все-же, я не знаю, что это: но когда я встречаюсь с ними, что-то стоит между нами. Вы скажете: мое происхождение?«

— »Я этого не говорил, Марина«, живо возразил он . . .

На следующее утро мы встретились с Мишей в Институте. Мне нужно было составить какое-то заявление, и я попросила его мне помочь: советским стилем он владел в совершенстве. Миша с готовностью согласился, и мы пошли в канцелярию, где вдоль стен стояли пульты. С неизменной милой неуклюжестью, не спеша, Миша достал из портфеля лист бумаги и, не вынимая, как всегда, левой руки из кармана, принялся писать. Но бумага скользила под его пером, и я, прислонившись к стене, с насмешливым любопытством наблюдала за его безуспешными стараниями справиться с непослушным листком. Наконец, он и сам увидел бесплодность своих усилий, и медленно, как бы нехотя, вынул вторую руку из кармана.

То, что я увидела, было так неожиданно, что у меня помутилось в глазах, и мне стоило большого труда, чтобы не вскрикнуть: вместо сильной мужской руки на пульте лежало нечто бесформенное, покрытое шрамами и багрово-синими кровоподтеками; средний и безымянный палец были вырваны до самой ладони, а указательный и мизинец торчали какими-то огромными когтями из сплошной зарубцевавшейся раны.

Как-бы не замечая моего испуга, Миша продолжал писать. А мне, мне стало стыдно: хотелось что-то сказать ему, погладить эту изуродованную руку

— »Ну, вот, Марина, я и кончил, подпишите . . .«

Миша, не спеша, опустил левую руку снова в карман и, упорно не замечая моего взволнованного лица, начал говорить о какой-то лекции.

Из Института мы вышли вместе. Воздух был напоен весною; ласково грело солнышко, успокаивало напряженные нервы.

— »Как хорошо, Миша — весна!« — вырвалось у меня.

— »Да . И все-же нигде нет такой весны, как в Киеве! Вы знаете Киев, Марина?«

— »Нет, я там никогда не была, но думаю, что Киев чудесен: мне мама много рассказывала о нем. Она кончила там институт . . .«

Мишины глаза радостно блеснули.

— »Но тогда она знает мою маму«, — возбужденно воскликнул он.

И вдруг спохватился, замолчал, закусил губу.

Мне все стало понятно.

— »Вот почему Вы так прекрасно говорите по-французски«, вслух закончила я свою мысль.

Он только кивнул головой.

— »Что-же мне оставалось делать?« — после долгого молчания произнес он: — Пришлось выдать себя за другого . . . Не мог стоять в стороне . . . Хотел учиться, Марина . . . участвовать в строительстве новой России . . . —

— »Значит, Вы не Миша Петров?«

— »Нет, так звали моего денщика . . . Он был убит в бою, а я . . . я взял себе его документы. Я — Владимир Ш . . .«

— »Миша«, назвал одно из громких и славных русских имен.

«О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимое; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живого без ненависти созерцать не могут, и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил себя Бог и все создание Свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти.»

(Слова старца Зосимы, «Братья Карамазовы».)

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

К. Н. НИКОЛАЕВ

ПРИШЕЛЬЦЫ ПРАВДЫ

Равновесие мира нарушено потому, что унижена человеческая личность. Унижена, как это ни странно, в стремлении ее возвеличить.

В полной мере обнаружилось то, о чем говорил в своем откровении Ф. М. Достоевский словами Шигалева — этого завершителя тех реформаторов, роль которых началась от проповедников утопического социализма, через Маркса-Ленина и до наших дней. Дошли до конца.

Начали полной свободой, кончили полным рабством. И никакой другой системы нет. Поистине так. Социализм — это атеизм. Это не «свободная церковь в свободном государстве», а принудительное безбожие в деспотической системе государственных отношений. Отбирается право смотреть ввысь, и отбирается право свободно двигаться по земле. Если нет Бога — то нет и человеческой свободы. Дети Божьи становятся рабами государства. И человечество, поглощенное государством, — есть бог. Так учил Фейербах. Об этом забыли и пренебрегли всякой философией, всякой метафизикой. Нет души, нет психологии, есть рефлексология, — и человек сводится к удивительному земноводному, обладающему даром речи, которое, в сущности, ни к чему не нужно. И, может быть, в плане строительства мира Шигалева люди грядущего будут разделены на две категории. Ничтожное меньшинство, владеющее всей полнотой знания — законом и пророками и рабочий скот, воспитанный в забвении мысли и слова. Это необходимо, ибо в плане Шигалева достигается окончательный результат всемирного устроения человечества без талантов. Все равны в своем убожестве.

Но нет уверенности, что мыслящий и говорящий Божий сын, рано или поздно, все же не сбросит с себя мучительной петли навязанного ему счастья и не захочет жить так, как захочет. И этого страшатся Шигалевы и принимают предупредительные меры.

Однако. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.

Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.» Так говорил ап. Павел к «несмысленным галатам» (6, 7-9) 1900 лет тому назад.

Ныне спокойно и со всем разумением должен вдуматься в эти слова весь «несмысленный» род человеческий, пройдя через безумие разрушений и подойдя к черте своей гибели. И гибель, тление всего сущего, надвинулось потому, что вот уже целые века человек «сеет в плоть свою», в уверенности, что только в материальном устройстве жизни он найдет и покой и счастье. Пока же потерял, вообще, смысл жизни. Разучился различать добро от зла и отвратился от того, чтобы «сеять в дух».

«Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды.» Поистине проповедники свободы вышли «рано до звезды», и посеянное семя выростило плевелы насилия, и они заглушили пшеницу свободы.

Как это произошло?

Французская революция на трон французских королей возвела третье сословие — мещанина. Гражданин Капет также величественно, как это присуще королям, взошел на эшафот. Перед ним полутора веками раньше в пиршественной зале своего дворца сложил голову английский король Карл I-й, с достоинством заявивший, что те, кто его осудили вообще не имели права судить. И он был прав.

По разному поняли смысл своих революций французы и англичане. Франция родилась к новой жизни. Казнь короля пробудила нацию — так говорили вожди санкюлотов, а по существу эта новая жизнь была началом потрясений, и такой скептический ум, как Анатоль Франс, правильно заметил: «Самые блистательные подвиги имеют порой самые жалкие последствия». Достаточно вспомнить подвиги Наполеона Бонапарта, те сорок веков, которые смотрели на него с вершин пирамид и те «дванадесять языков», которые остались в снегах России. И смысл этого в том, что ап. Павел считает законом нравственного равновесия.

Наполеон, а за ним Гитлер, в котором не было ничего от Наполеона, «сеяли в плоть» и потому пожали тлен. И так будет всегда. Революция ослабила Францию. Великолепная культура, чудесный язык, святость Людовика IX и версальская пышность Короля-Солнца создали народ, который был первым в Европе. Революция снизила характер народа. Еще Монтескье в трактате «О духе законов» заметил, что насильственные изменения путей государств отражаются на государствах тем, что создается какая-то новая неправильная форма, и при этом худшая.

Франция Людовика Святого и Франция

Короля-Солнца не были похожи одна на другую, но это была одна и та же Франция в ее историческом развитии.

Франция революционная создала тот буржуазный порядок, где третье сословие, согласно с предсказаниями Аббата Сиеса, стало всем. И это третье сословие в июньские дни 1848 года потрясло впечатлительного русского наблюдателя А. И. Герцена. Расправа Ковиньяка с революционным движением заставила Герцена возненавидеть тот строй, который явился в результате завоевания народом свободы после того, когда скатилась голова короля и королевы. Восстановление монархии не восстановило традиций «вечной» Франции.

И Франция стала клониться к упадку. Не прошло и двух веков, как сменилось три империи, из которых одна была в стиле оперетки Оффенбаха, и наступила четвертая республика. Если победа Германии в 1871 году явилась причиной современной германской катастрофы, то все же под Седаном Франция понесла постыдное поражение. Реванш 1918 года был результатом усилий не только одной Франции, и лишь потому победа на Марне через очень короткий промежуток времени не уберегла Францию от катастрофы 1941 года.

Все эти долгие годы Франция сеяла «плоть», и живой французский народ начинает это понимать.

Возрождение идет своей дорогой, как бы не замечая и растущей силы сеятелей «в плоть» коммунистов. Создается религиозное движение не только церковное, но и внецерковное. Возвращаются тени Людовика Святого, Орлеанской Девы и той Королевской Франции, эмблемой которой был белый цвет и лилия, символ непорочности и чистоты. Королевская Франция была греховной, но человеческой и стремилась к святости, ибо «сеяла в духе». Сеяла и «в плоть» свою, но по слабости греховной природы человеческой, а не потому, чтобы поклонялась князю мира сего. Старая Франция умела как-то соединять стремление к роскоши с пониманием того, что эта роскошь не является смыслом жизни, и французский король, оглядывая с высоты трона свою страну, видел в ней тот простой, честный и религиозный народ, который давал ему уроки нравственного поведения. Потому все было органически связано. Кем бы ни был король по своему характеру, он был ответственным за судьбу страны и народа. Он, и только он.

Казнь короля Карла I англичане поняли, как трагическую необходимость и национальное несчастье. Отстаивая свои права, народ прибег к средству, которое никакой радости ему не дало. «Круглоголовые» и их пуританские идеалы, выразителем которых был человек с характером героев Шекспира Кромвель, быстро утомили английский народ (вся эпопея Кромвеля и его сына продолжалась шесть дней), любящий жизнь и умеющий жить. Этого сейчас на нашей земле не понимают и это опасно.

В результате всех потрясений возникла гражданская война, давшая прекрасные сюжеты для исторических романов, но мало радостей для современников.Все, что предшествовало и сопровождало английскую революцию, непосредственно связано с тем, что произошло 11 ноября 1620 года на борту корабля «Ландыш» у берегов Америки и что послужило основанием Северо-Американских Соединенных Штатов. Бывшая английская колония заменила свою метрополию на троне властительницы мира.

Положение Соединенного Королевства трудное и, если Англия не теряет уверенности в том, что она преодолеет эти трудности и пойдет своей старой дорогой в новых условиях, то, между прочим, и потому, что она свою революцию поняла, как урок морали и политики, и что революция — это не рождение новой нации, а только указание на то, чего не нужно делать. Английская революция укрепила в английском народе веру в эволюцию. Труп Кромвеля был извлечен из могилы и повешен, а сын Карла I, Карл II вернулся в Англию, вступил на престол и царствовал 25 лет. Он наделал много ошибок, стремясь повернуть назад колесо истории. Народ принял эти испытания, ибо своим здоровым политическим чутьем понял, что революция — вещь сложная и небезопасная, а, как средство благоустройства жизни, совсем негодное, и что вещи надо брать так, как они есть.

И английский народ берет вещи, как они есть. У него есть Magna Charta libertatum Иоанна Безземельного—акт археологический. Этот акт не похож на торжественную декларацию «Прав человека и гражданина», произведение народа, охваченного революционным энтузиазмом. Это «торговый» договор между властью и народом, определяющий взаимные права в интересах удобств жизни. Вот почему английский народ — народ свободный. От времени до времени он выливает из своей исторической ванны грязную воду истории вроде гнилых местечек, ограниченного избирательного права, застарелых привиллегий и проч., но еще ни разу он не выплеснул вместе с водою и ребенка — свободу. Он сеет в «плоть свою» он любит плоть свою, он живет в неравенстве, но берет это неравенство, как факт, который требует изменений, но он сеет и «в дух» и никогда не согласится экономическое равенство и видимость всеобщего благополучия приобрести ценой свободы. Не пойдет на это лорд, потомок баронов Вильгельма Завоевателя, не пойдет на это и поденщик.

Сохранив королевскую власть, англичане сохранили личное начало власти. Как бы ни были ограничены прерогативы короля, как бы ни были взаимно связаны власти в стране, но парламент и его Комитет, который есть

правительство и называется Советом Министров — всегда помнит, что есть Король, как личность, человек, который в своих действиях ни на кого ссылаться не может, и Король может отклонить билль древней формулой, произносимой на старофранцузском языке: «Король подумает».

В стране же того парламентского режима, который создала Франция и который послужил образцом для всех континентальных парламентов, нет того, кто бы мог «подумать», и власть стала безличной и потому безответственной — не только политически и физически, но и морально. И в этом все. В этом кризис власти.

И снова изумительный Шигалев проповедует. Только Шигалев завершает свою проповедь самодовольной улыбкой — исторический процесс закончен и никакое Второе Пришествие иметь места не может, а Достоевский за спиной Шигалева провидел что получится: «дойдете до людоедства». И дошли.

Как образовалось государство, не важно, а важно то, что положено в его основание. Должен быть положен «Общественный договор», утверждает Жан-Жак Руссо. Колумб был у берегов Нового Света и не догадывался, что он открыл Америку. Многие философы и теологи, государствоведы и политики бродили около вопроса о том, что такое государство. Ломали голову над этим Платон и Аристотель, Гоббс и Августин, старались Григорий VII, Гильденбрандт с Генрихом IV, шел вопрос о двух мечтах, о принципах теократии, о Civitas Dei на земле, а все просто. Все нужно строить на общественном договоре. Люди все равны и по природе прекрасны. И чем ближе к природе, тем лучше. Соедините этих людей, из которых каждый стремится к счастью, и создайте социальную идиллию!

История, правда, свидетельствует о чем-то другом. Был на земле прелестный уголок. Страна, по которой бродил и слагал свои рапсодии чудесный старик, который своими слепыми глазами видел больше, чем толпа пастухов зрячими. Там пела свои песни непонятая Сафо, там люди были похожи на богов, а боги на людей. И эти маленькие города-общины могли собираться всем народом на солнечной площади, под теплым, ласкающим ветром Ионического моря, в созерцании Олимпа, горящего самоцветными камнями. Там родилась философия, там человек стал учиться познавать себя. И в этой чудесной стране происходили странные вещи. Там был остракизм, Тарпейская скала, и оклеветанный Сократ принужден был выпить чашу яда — успокоения. Афины и Спарта шли разными путями и дрались не хуже библейских семитов, мрачных и озлобленных своими неудачами. Там погиб Икар, пораженный лучами солнца, растопившего его крылья. Солнечный бог не пожелал, чтобы человек летал. И человеку летать, действительно, незачем, по той простой причине, что, вообще говоря, лететь некуда, а перелетать не для чего. Пока из этого хорошего не вышло, да едва ли что-нибудь и выйдет. Там Прометей был прикован к скале — нельзя похищать того знания, которое от людей скрыто не только богами, но и Богом. Мифа о Прометее не поняло человечество, и родилась атомная бомба. Выходит, что боги не так глупо с ним расправились; говоря серьезно — весьма человеколюбиво. Иван Грозный это понимал, когда любителю авиации приказал отрубить голову.

Всего этого Жан-Жак Руссо во внимание не принял и спутал «общую волю» с «волей всех», и на фундаменте королевской власти родился новый «Король-Солнце» — народовластие, которое как-то неожиданно потеряло чувство личной ответственности и заявило: «государство — это я», и хотя ничего про потоп и траву не говорило, но так сложилось, что в результате применения народовластия, без этой личной ответственности, страны погружались в волны потопа и трава переставала расти.

Представительный орган — Генеральные Штаты — имелись и при Короле, и тогда каждый являлся к Королю, как представитель своей общины и говорил о том, что ему было поручено. Это были представители живых людей и давали отчет и Королю, и избирателям. Таковы были и Московские Земские Соборы. Приходили люди, говорили о местных нуждах и пользе, судили и рядили о деле государевом. А Государь решал. И в этом был основной элемент подлинной демократии.

Жан-Жак Руссо хотел, чтобы вся нация собиралась для решения дел на вече. Не складывалось это толком в Новгороде и еще менее могло сложиться в той Франции, которая имела, все-таки, миллиона два участников Общественного договора, если считать только взрослых мужчин. И собрать эти два миллиона на площади Бастилии никак нельзя было. И тогда собрали представителей, не разбирая сословий и состояний, всех смешали в одно и каждого сделали представителем всего народа. В каждом представителе помещался весь народ. Народ сам пред собой не ответствен, он ответствен только пред историей. И получался такой голос народа, которого часто народ никак не мог признать своим.

Правительство ответственно перед народом в лице его представителей, народ — перед историей. В итоге — никто ни пред кем. И во всем государстве нет ответственного лица — нельзя же ящик, куда складывают шары голосования, и пристава, который считает голоса, полагать ответственным органом государства. Правительство теряет доверие представителей народа и уходит в тень забвения. Представители по окончании срока полномочий расходятся, и в общем все, что произошло, вплоть до национальной катастрофы является каким-то сном. Стране что-то снилось,

проснулись — и никого, и ничего, и даже электричество не действует. Признающая принцип личной ответственности Англия таких снов не знает, ибо англичанин голосует за лица, а не за списки. На этом же начале построена сила Американской демократии: там первый гражданин страны, президент, имеет право определять путь народа, но он лично ответствен пред народом за избранный путь.

В завершение был сделан еще один шаг и народ занял, наконец, свое настоящее место.

Прекрасная советская конституция имеет прекрасные представительные органы, куда приходят единогласно народом избранные представители. Как это делается — это не важно. Факт только тот, что в кармане каждого бесспорный документ — свидетельство об единогласном избрании. Как называется учреждение и каковы его функции — тоже не важно. Существует две палаты, может быть и четыре. Выбрали единогласно в две, выберут и в четыре. Задача представителей несложная — кланяться и благодарить. А так как, по Жан-Жак Руссо и по всем курсам государственного права, представители народа в совокупности своей — народ, то кланяется и благодарит народ.

И налицо чудесная идиллия из сказок Андерсена: народ кланяется и благодарит носителя власти, но самая власть благодарит народ. Гармония народа и правительства, умиление сердец, слияние душ, тихий шопот любви.

А в итоге-квартирная площадь, по словам американского наблюдателя, не больше площади могилы, гороховая размазня, как обычное меню, и лапти, вместо сапог, только без обмоток и веревок, а так наголо.

А когда умрет носитель власти, со всем блеском ритуала сожгут его прах и прах устроителя всемирного счастья развеют по ветру, чтобы во все концы вселенной были отнесены частицы великого строителя, слава о котором пройдет в род и род.

Был и другой аспект этого слияния с народом на почве представительства. Восточный мудрец решил облагодетельствовать весь страдающий род человеческий и стал строить для него дворец невиданных размеров на костях своего народа. Народа много — костей хватит.

Западный мудрец решил облагодетельствовать свой народ на костях, если не всего человечества, то ближайших соседей. Народа тоже много, и костей хватит.

И там, и здесь Жан-Жак Руссо торжествовал победу. Явлено было такое единоустремление и такой пафос народного восторга, перед которым все критики должны были умолкнуть и действительно на время умолкли. И никогда еще не была так обильна жатва тления.

И весь мир содрогнулся.

Западный мудрец отошел в историю без всякого ритуала. Народ в недоумении стоит перед экраном истории, с которого исчезли все дивные видения, созданные воображением вождя. Экран чист, и неведомо, что напишет на нем история.

Восточный экран еще рябит от нервно двигающихся фигур. По опустошенным полям и площадям разрушенных городов бродят люди, не узнавая знакомых мест.

Экран освещен плохо. Фигуры движутся хаотически. Все, как-будто, начинают понимать, что перекланялись. Судомойка — стахановка из образцовой столовой железнодорожного депо № 2, как-будто, начинает понимать, что ее единогласное избрание в Верховный Совет Республики просто какое-то издевательство. Над ней начинают смеяться, а, если начнут, то смех на ней не остановится.

И чудится не одной только ей, а чудится всем термитам великой страны, ставшей великим и духовным, и физическим пепелищем, что где-то далеко, в чистых домах, в теплых комнатах, за освещенным столом работают и беседуют, пьют чай такие же люди, как и они; и начинают понимать, что все соловьиные песни о радостях социалистического строительства не могут сделать холодную гороховую размазню горячим борщем. Запах тления захватывает дух.

И кто же сохранится до тех дней, когда сооружен будет этот дворец счастья и кто в него войдет? Слезы все выплаканы, остался только горький смех.

Шигалев ничего этого не замечает. Он не замечает, что «действительно, запутался в собственных данных», и что его «заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей», а он еще утверждает: «кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого . . . Я предлагаю рай, земной рай и другого на земле быть не может».

Шигалев не замечает, что площадь пустеет, народ разошелся, посреди площади застыла с поднятой рукой в белой перчатке девушка-милиционер, заснул шофер «черного ворона», люди идут по темным и молчаливым улицам и шепчут: «Что он такое говорит? . . .»

Шопот становится все сильнее, он переходит в глухой шум, шум наростает и становится песней далеких дней.

Шигалев растерянно оглядывается. В двери истории кто-то стучит, двери широко распахиваются, и в лучах яркого небесного света появляются «Пришельцы Правды».

Г. АПАНАСЕНКО

Свобода — знамя

За свободу! Это знамя всегда волновало людей. Этот клич находил отклик горячий в миллионах сердец.

За свободу боролись, за свободу умирали все-же лучшие люди, — кому дух рабства был органически невыносил. Свобода мыслить, творить, исповедовать убеждения, определять и устраивать судьбу свою, «бороться за лучшие идеалы» свобода жить! Не буйство, не бунт и отказ, не своеволие, но та свобода, что обращена на защиту личности, ее духовности, что стоит на страже чести и достоинства человека, та, что насыщена высоким идеализмом и нравственным величием, что преисполнена уважения к человеку и труду его.

Грань между такой свободой и бунтом — ясна, ибо она вычерчена в веках, выжжена в душах наших.

Ни идея свободы, ни свобода «конкретная» никогда не умирали на земле. Даже в древние времена. Даже когда институт рабства входил в обиход жизни, санкционировался правом, официальным законом, психологически признавался и принимался человеком. Свобода «конкретная» и идея свободы жила ведь и в древней Греции, жила там тогда, когда на одного эллина проходилось в среднем десять рабов. Ибо афиняне были свободны! Ибо творчество было их культом! А непревзойденные памятники искусства их и философия — яркие свидетельства независимости эллинского духа, высоты творческого взлета. Даже в древней Спарте, в этом своего рода тоталитарном государстве, спартанцы были все-же свободны.

По пути к свободе шел и древний Рим. Его грандиозные сооружения, гордые орлы, победоносные легионы, государственные деятели, знаменитые юристы... яркая красочная жизнь — пусть даже без надлежащей глубины — и, наконец, имперская мощь мировой державы... Да, были и рабы, были люди-вещи, непререкаемое право собственности на них. Были и граждане второго разряда — целые провинции неполноправных туземцев, подчиненных Риму силою меча. Но идею свободы и свободу «конкретную» хранили патриции, хранил римский народ, она воплощалась в полноправном римском гражданине. И сакраментальная фраза: «я римский гражданин» звучала гордо, дышала свободой. А площади Рима, те самые исторические площади, где бился пульс общественной и политической жизни древнего колосса, не раз содрогались от мерного шага и криков рабов, поднимавших знамя восстания, знамя «борьбы за свободу». И вся римская история есть, в сущности, постепенное расширение римского гражданства, т. е. свободы, на все слои римской нации, на все покоренные им народы.

Когда же Рим пал под натиском варваров, под натиском физиологии человечества, в недрах Римской Империи уже зажегся светоч высшей Правды и высшей Свободы — Христианство. В нем — в Христианстве — идея свободы получила религиозное завершение и то моральное обоснование, которого недоставало ей прежде. Из шаткой юридической области она «перешла» в область моральную, принципальную и выразила собой неизбывную правду Жизни, необходимейшее условие существования человека, абсолютную принадлежность сынов Божиих. Человеческому сознанию раскрылся глубочайший, религиозный смысл свободы. Дух Божий снизошел на человека, преобразил внутренний лик его и зажег в душе то пламя, что горит до сих пор.

Оно не угасло в Средние Века, когда крепостная зависимость одних, вассальная — других и общее огрубение нравов могли, казалось бы, погасить его, затмить в сознании людей священный огонь свободы. Но церковь бережно хранила божественную искру. Но рыцарство создало путь чести, благородства, и эти аттрибуты свободы были его знаменем. Она, свобода, жила и в средневековых городах, организовала их, а, быть может, и вызвала к жизни. Ведь каждый пришелец, переступивший черту городскую, мог навсегда порвать с крепостной зависимостью, мог навсегда остаться свободным горожанином. Выдачи из этих своеобразных городов-государств тогда не было. Пусть человечество, — и не только европейское человечество — делилось тогда на две неравные части. Пусть большая часть была несвободной, даже мирилась с этим, хотя бы в силу необходимости. Все-же другая часть воплощала идею свободы, отстаивала «наличное бытие» ее, хранила, как возможность для всех людей, берегла для иных времен.

Идеей свободы вдохновлялось ведь и «третье» сословие Франции в период начальной борьбы его с аристократией. Свобода «конкретная» жила и в аристократии всех стран и всех времен, жила и в дворянстве, и за нее боролось оно даже с королями и государями.

Идея свободы жила в нем даже тогда, когда в пылу борьбы переходило оно грань, выкованную в веках, грань, отделяющую свободу от своеволия. Идея свободы жила и в российских императорах, когда они отстаивали границы Российской Империи, когда освобождали крестьян с землей (чего на Западе не было), когда боролись с темными силами, подтачивавшими исторические основы бытия народного и государства Российского...

И, быть может, в приверженности свободе глубочайший исторический смысл и рыцарства, и средневековых городов, и аристократии ,и дворянства, и всех крестьянских волнений во времена крепостничества. И, быть может, вся история человеческая, вся тысячелетняя борьба и тысячелетняя культура — ничто иное, как постепенное воплощение идеи свободы, распространение свободы «конкретной» на все народы, на все слои населения, на всех людей; ничто иное, как освобождение человека от власти материи, как преображение ее силою свободного духа.

Путь свободы на земле тяжел и тернист. Но никогда она не гасла. Не гасла и не умирала, хотя бы потому, что никогда не было на нее организованного покушения, никогда не было **принципального** отрицания ее. Даже в темные периоды истории человеческой, даже в кровавые годы бездорожья.

Но вот наступил двадцатый век, — век науки, всеобщего просвещения, век взлета человеческой мысли, торжества положительных знаний и небывалого расцвета техники; век, который мог бы праздновать **столетие** признания свободы за всеми людьми всего мира. Но вместе с положительными знаниями, вместе с всепобеждающею машиною двадцатый век принес и идею машинизированного общества, механизированного человека, идею тоталитарного строя. Того строя где вся власть принадлежит даже не единственной партии в государстве, а вождю ее, где даже высшие партийцы лишены «конкретной» свободы — свободы слова, свободы мнения, — не гарантированы от «карающей» пули, либо от «хирургического ножа», где ни один социальный слой и ни один человек не пользуется даже минимальной независимостью — ни политической, ни экономической. В машинизированном и механизированном тотальном муравейнике свобода умерла. Там принципиально отрицают ее, там систематически борются с нею. Тотатитарность — это организованное покушение на идею свободы, на самое существо личности, на бытие ее: это — покушение на основу Жизни, на свободное развитие свободных творческих сил.

В борьбе с такой системой демократия взяла свободу под свою защиту, связала с ней судьбу свою. По крайней мере, на ближайший отрезок времени. По крайней мере, так говорят Но это обязывает. Это налагает величайшую ответственность, это повелевает защищать ее во всех случаях и при любых обстоятельствах. Защищать бескомпромиссно, безусловно, безоговорочно.

Ибо свобода — знамя. Свобода — клич. Свобода — судьба человечества. Ибо за гранью свободы притаились те, кто «начинает с безграничной свободы, а оканчивает полным рабством». Притаилась шигалевщина.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

— Нет мне спасения: проклят! И что бы ты ни сказал — все одно проклят!

Я его кое-как успокоил: вижу, за страданием приполз человек издалека.

— Собрались мы в деревне несколько парней, — начал он говорить, — и стали промежду себя спорить: « кто кого дерзостнее сделает?» Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз: «это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал так, как говоришь. Хвастаешь.» Я ему стал клятву давать. — «Нет, стой, поклянись — говорит — своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу!» Поклялся. «Теперь скоро пост — говорит — стань говеть. Когда пойдешь к причастию, причастье прими, но не проглоти. Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.» Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: «положи!» Я положил на жердь. — «Теперь — говорит — принеси ружье.» — Я принес. — «Заряди.» — Я зарядил. — «Подыми и выстрели.» — Я поднял руку и наметил. И вот, только бы выстрелить, — вдруг передо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем, в бесчувствии...»

(Рассказ монаха-исповедника. «Дневник Писателя», 1873)

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Н. ИВАНОВ

Эпоха нового гуманизма

1. НА РУБЕЖЕ

Мир в развалинах. Зияющие провалы в домах, горы щебня и мусора на месте прекрасных дворцов. Уродливые остатки мраморных колоннад; поверженные ниц статуи Аполлонов и божественных Венер. Обгорелые, опутанные извившимися в пламени пожара железными прутьями и балками — стоят фабричные здания; там, где раньше неумолчно стучало сердце чудесного производственного механизма, теперь ржавеют под дождем, ветром и снегтм останки циклопических машин.

А он, человек, творец Аполлонов и Венер, динамомашин, летающих кораблей, дерзко заглянувший в сокровенные тайны природы, он, сейчас уныло понурив голову, жмется от ледяного ветра, проникающего сквозь щели чудом уцелевших потрескавшихся домов. И победитель и побежденный! Уже появились первые туристы с фотографическими аппаратами, ищущие в руинах пейзажа для снимка.

Душа человека, какая плохая она ни была раньше, сейчас как бы обросла шерстью. В ней не осталось ни нежности, ни любви; не осталось даже простой отзывчивости к страданиям другого человека. Что стал «стоить» ныне человек? Не праздный ли это вопрос, когда все, чем измерялось величие его духа, мысли, воли, мук и борьбы, разбито, уничтожено и поросло бурьяном. Если бы в наши дни жили Пракситель, Леонардо да Винчи, Шекспир, Пушкин, то право, современный спекулянт черной биржи все же стоял бы на лестнице общественного почета выше и «стоил» бы больше титанов человеческого гения.

Жалкий век! Да, жалкий... Но подождем его судить. Уже и то хорошо, что он сознает свою духовную нищету; хорошо, что он сознает, что находится в вакууме культуры. Может быть, ему принадлежит право опомниться и провозгласить заветы грядущего, предсказать, а возможно — и утвердить, законы новой жизни. У Шубарта («Европа и Душа Востока»), прекрасно сказано: «Война является не только дикой разрушительницей, но и силой культурного оплодотворения». Ему же принадлежат слова, в которых выражена сокровенная сущность нашей эпохи:

«Теперь уже нет больше веры в возможность **органического воссоединения Бога и мира.** Теперь спасение мыслится возможным лишь через **разложение всего земного».**

Весь вопрос в том, дошли ли мы до предела «разложения» земного или не дошли? Достаточно ли свободно человечество в своей воле построить новое или его связывают еще стальные канаты предрассудков, меры и отношения прошлого? Все ли покончено со «старым миром», или он еще цепко хватается где-то костлявыми руками за рушащееся государственное здание, за власть над сотнями миллионов людей, за танки, атомные бомбы и космические лучи?

Каждому ясно, что нет, не кончено! И если наша левая нога переступила порог нового и повисла в воздухе, не нащупав опоры, то держимся мы на правой ноге, стоящей в старом. Вот почему наши годы наполненны тревожным смятением, порывами ввысь и мелкими дрязгами серого дня, мечтою о объединении всех народов и глубокими раздорами между победителями. Бернс, в своей речи по радио 18.X.1946 г., назвал эти раздоры «конфликтом идей»:

«За этими спорами и расхождениями скрывались действительные, глубокие различия интересов, **идей,** опыта и даже предрассудков»,

и далее:

«Жаждущие мира народы не будут в состоянии оказать свое влияние, если они не знают тех **конфликтов идей** и интересов, которые вызывают войну...»

(«Борьба за мир», Вып. 2. Изд. «Златоуст», 1946, ст. 12.)

В закончившейся только что войне не оказалось ни победителей, ни побежденных. «Конфликт идей», предшествовавший второй мировой войне, не был исключительной причиной ее возникновения. Как бы символизируя переходное время, эта война носила двоякий характер: «конфликтом идей» она возвещала приближение нового, борьбою за «жизненные пространства» она тянулась к прошлому.

Поэтому и после войны мир не смог отрешиться от прошлого. С одной стороны, верно, что теперь нет победителей и побежденных, ибо человечество боролось за освобождение от рабства физического и духовного, с другой стороны, конечные результаты войны в этом отношении оказались мизерными, эгоистические интересы государств вышли снова на поверхность, и в борьбе за послевоенный порядок, территории, проливы, базы, богатства земли и тому подобное играют далеко не последнюю роль. Вторая мировая война была первой войной нового времени за идеи, была «конфликтом идей», но она не разрешила их. Тот, кому принадлежит завоеванное оружием право навязать миру новый порядок, стоит в смущении, не зная, что делать с этим правом.

Ни в Америке, ни на Британских Островах не отдают себе, повидимому, ясного отчета в том, что же, собственно, нужно делать. Там родилась Атлантическая Хартия, прокламировавшая человеческие свободы, оттуда вышла доктрина демократизма, там провозглашена идея мирового Парламента, объединения наций. При всем богатстве новых идей, там царит жалкая путаница в области практических мероприятий. Подобно тому, как архитекторов, давших на ватманской бумаге чертежи изумительно прекрасного дворца, заставили бы самих строить его.

Америка чувствует себя, пожалуй, больше всех обязанной. Война завершена ее усилиями, она сейчас самая могущественная держава и это накладывает определенные моральные обязанности на американцев. В Америке все больше и больше растет требование активной политики, требование действовать и решать, ибо американец почувствовал, наконец, современный «конфликт идей» и свою слабость, происходящую от чрезмерного наличия неиспользованной силы. «Без сомнения, пробивается наружу воля Америки стать культурно-духовным миссионером Германии — и не только Германии» — пишет один германский автор в недавно вышедшей интересной книге «Возрождение человечности» (P. Scherer: Wiedergeburt der Menschlichkeit, Seite 14). Америка задумывается над своей победой!

2. «КОНФЛИКТ ИДЕЙ»

Слишком много говорят и пишут о кризисе идей, о кризисе духа или духовном кризисе нашего времени, но слишком мало говорят и думают о **существе** этого кризиса. Казалось бы, кому, как не нам, имея за спиною десятитысячелетнюю историю культурного развития, надлежало бы заметить закономерность смены культурных эпох для того, чтобы

перестать оплакивать уходящее и бодрее взглянуть на будущее.

Что мы хороним, что умирает на наших глазах в грохоте рушащихся городов, вздымающейся земли и освобожденной человеческой рукой атомной энергии? Умирает ли дух человеческий или разрушается материальное овеществление человеческого духа? Говорят, и так думает, пожалуй, большинство, что гибнет человеческая личность, гибнет субстанция духа, разрушаются последние остатки этики и религии. Человечество еще сделает несколько шагов вперед и окончательно изгонит Бога с Земли для того, чтобы вступить с ним в борьбу во Вселенной.

Между тем, все происходит наоборот. Такая концепция несостоятельна по одному тому, что дух, в противуположность материи, вечен. Начиная с момента промышленной революции в Англии, с появления паровой машины и ткацкого станка, с открытия Нового Света, мировой торговли и превращения золота в средство власти над живым и мертвым миром, человечество отрекалось от ценности человеческой личности; в дикой пляске вокруг золотого мешка или вокруг циклопической — созидающей или разрушающей — машины, втаптывало в грязь человеческую душу, вместе с ее источником — верой в Творца, Промысел и Высший Разум.

XVII, XVIII, XIX века и до последних дней — это торжествующее наступление материальной субстанции против духовной. Это века эпохи рационализма-материализма. Находясь на вершине материалистического цикла истории, пожиная плоды расцвета материальной деятельности многих поколений, мы, и только мы, в состоянии заметить, что она задушила духовное начало жизни, в результате чего цивилизованный мир подошел к пропасти. Только на краю пропасти человек вспомнил о Том, Кто дал ему жизнь.

Так представляется историческое развитие на самом деле. Сейчас мир переживает кризис идей, но каких идей? Он переживает кризис — нет, даже больше — страшную катастрофу материализма, в духовном и житейском плену у которого находилось человечество в последние 200-250 лет. Сегодня живое существо человечества поднимается на бунт против материалистического рабства, а завтра грянет революция, революция Духа, **революция во имя Бога.** И будет так, как пел Александр Блок:

Легкой поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос.

Катастрофа материализма — явление несомненное, неоспоримое. Она уже произошла 20-30 лет тому назад в области философии. Политически материализм потерпел решающее поражение во время войны. И, наконец, последняя стадия борьбы против него началась сейчас, когда к критике материализма приходят широкие массы людей во всех странах и государствах света.

Материалистический метод познания исчерпал себя после того, как достиг блестящего развития, после того, как дошел до крайней точки познания — до полного разложения материи атома в «ничто», т. е. обнаружил **духовную** основу материи, материального атома. Политическое учение материализма подняло против себя восстание после того, как были осуществлены на практике его идеалы, когда «прыжок из царства необходимости в царство свободы» по теории оказался на практике царством принудительного труда, восточно-деспотического раболепства, нищеты духовной и материальной.

Следствием катастрофы материализма является наблюдаемый конфликт идей и «глубокие различия интересов и даже предрассудков» по выражению Бернса. Именно в период катастрофы чего-либо могущественного обнаруживается острота борьбы и ее многосторонность, словно весенние воды бурно вырвались из ледяного плена. Человеческий дух вступил в борьбу с материей и одолел ее, но не победил еще окончательно. В последней схватке титанов содрогнутся горы, земля изменит свой облик, и лишь после этого взойдет для измученных людей умиротворяющее Солнце новой эпохи.

3. ДУХОВНЫЙ РЕНЕССАНС

Предчувствие предстоящей гигантской духовной борьбы наполняет серьезные книги американских и английских авторов, политические статьи в газетах «Таймс», «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Геральд Трибюн», а также политические речи руководителей государств.

Уже после войны в Америке вышла в свет книга Арчибальда Мак Лейша «Гуманизм и вера в Человека», которая поражает не только глубиною чувств автора, но тем, что эти чувства выросли на американской почве, тем, что Лейш опрокидывает, к нашей большой радости, представление о «бесчувственной Америке». Ознакомившись с Лейшем и еще с рядом американских политических писателей, невольно приходишь к заключению, что американцам принадлежит сейчас одно из первых мест в том новом духовном движении, которое стремится вывести мир из тупика.

«Мы чувствуем, — пишет Мак Лейш — **что люди потеряли свое место во Вселенной».**

Как это произошло? Это началось с тех пор, как человека, вырвавшегося из духовного средневековья, обуяла гордость. Заменив собою Творца мироздания, человек, с помощью разума, захотел создать новую Вселенную:

Мы старый мир разрушим...
Мы новый мир построим...

Он ушел в материальную деятельность с головою и душою, он сделался рабом созданных им же категорий: государства, рынка, промышленности, машин. Они пожрали его свободу, братство и равенство людей. Развитие материального мира дошло до той предельной черты, когда не только человек превратился в раба и потерял свое место во Вселенной, но и техника, по выражению Шубарта, «Вошла в стадию своего собственного уничтожения». Беспредельно был счастлив человек, представлявший себе что мир вращается вокруг Земли. Это наполняло его душу чувством **духовной гармонии мироздания,** он сознавал свое божественное призвание и стремился ввысь, совершенствуя свое духовное **Я.** Но с тех пор, как Земля «завертелась» вокруг Солнца, а Солнце «сорвалось» со своего места и понеслось в неудержимом вихре по небесной хляби, человеческое **Я** стало мало нужным, оно развеялось в эфире, потеряло свою логическую ценность. Что такое **Я** сейчас на клочке земли? Ничто. В нем нет смысла, **ответственности перед миром и Богом.** Осталась лишь весьма оспоримая цель — действовать. Не важно, во имя чего и ради чего, — но лишь действовать, творить, создавать невероятное, постигать непостижимое и этим восстановить потерянное равновесие между внутренней субстанцией и внешним миром.

На этом пути человек дошел до конца, до пропасти: ибо атомная бомба — это пропасть, ибо современные военные машины — это пропасть, ибо современное государство — это пропасть. Дальше нет пути. Каждому ясно, что при том порядке, на котором держится мир, неизбежна новая катастрофа и ее человечество не переживет в прямом смысле этого слова. Поэтому-то на краю пропасти человек возопил о своем спасении. Он начал прозревать, и вместе с просветлением к нему пришло сознание необходимости борьбы за возвращение духовного мира и за освобождение от материального рабства.

Мак Лейш пишет:

«Обнаруживаются признаки и симптомы **страшной тоски по вере,** страстной тоски, питаемой сознанием человеческой ограниченности; это чувство растет и углубляется вследствие того, что научные исследования и техника откры-

вают такие гигантские размеры и такие страшные возможности Вселенной, которые являются более могущественными и опасными, чем может представить себе это человечество нашей эпохи.»

Те же мысли, только в политической сфере, развивает известный американский журналист Ни-

майер в статье «Мировой порядок и великие державы» («Америка и мир», 1946 г. Изд. «Златоуст»). Он тоже протестует против «такой структуры мира, когда материальная сила определяет положение», и с грустью вспоминает, что «в истории были периоды, когда отношения между народами определялись не столько воздействием силы, как принципами и законами права и морали» (Стр. 2-3).

Вальтер Липпман, главный редактор газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн», постоянно развивает одну тему о **«идеологическом конфликте из-за элементарных гражданских прав».** Он утверждает, что «доверие и лойяльность народов мира не могут быть приобретены, если этот идеологический конфликт из-за элементарных гражданских прав человека не будет разрешен» («Америка и мир», ст. 15).

Теперь мы уже научились понимать, что скрывается за сухим академическим выражением «Элементарные гражданские права человека». Это: безправное скитание по чужой земле; десятки миллионов людей, загнанных в концентрационные лагеря и «благодарящих» за такую «заботу» о них своих «фюреров», «отцов народа» и вождей; погоня за невинными людьми в церкви, с выстрелами из автоматов, ручейками алой человеческой крови у иконостаса... голод, бомбы, бесчисленные комиссии и анкеты — одним словом, наш сегодняшний мир. С чувством глубокой признательности мы протягиваем свою руку за слова в защиту «элементарных гражданских прав человека» американцу Липпману.

Победа рационализма в XVIII веке привела к мысли, что мир — только поле для человеческой деятельности, в которой и состоит цель существования человека. А это привело к опустению души человека, к потере веры в Бога. Сейчас, без сомнения, мы не можем повернуть колесо развития вспять, вернуться к детской вере средневековья. Но философская мысль ведет нас по дороге религии, а не по дороге рационалистического мышления:

> «В XX веке рационализм дошел до конца и теперь должны ожить духовные силы, силы чести, любви, благодарности и ответственности. **Человек есть религиозное существо».** (Philipp Scherer: „Wiedergeburt der Menschlichkeit", Стр. 108-110).

Признание, что человек есть религиозное существо, вместе с признанием, что люди потеряли свое место во Вселенной, составляет отправную точку духовного Ренессанса, начинающегося в наши дни.

> «Человек не достоин Бога — таково растущее новое убеждение западного человека, того самого, который еще недавно утверждал, что идея Бога недостойна человека. Оно подготавливает коллективную исповедь целого континента. Оно должно закончиться ужасным признанием, что прометеевская культура, с ее потугами и стараниями четырех столетий, стояла на неправильном пути.» (В. Шубарт: «Европа и душа Востока», Изд. «Посев» 1946 г. стр. 71.)

4. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Духовный Ренессанс XX века **по своему содержанию глубоко религиозен, по форме в высшей степени гуманистичен** в новом, подлинном значении этого слова. Религиозность и гуманизм наполняют собою тот духовный переворот, который происходит в философском сознании и практическом мышлении людей нашего времени. Вторая половина XX века кладет начало эпохе великих гуманистов, которые проложат дорогу великим проповедникам и Мессии следующего за ними. Гуманистическое движение, зародившееся на почве Нового Света, в среде выдающихся деятелей американского народа, только тогда обретет силу и победит, когда, преодолев барьеры и смяв преграды, овладеет сердцами многострадального, несущего крестное испытание, по природе своей христолюбивого и мягкосердечного **русского народа.** Гуманизм высоко поднимает ценность и достоинство человека, но не находит еще полного оправдания его существованию на бренной земле. Роль гуманизма в исторической перспективе — только усыпать цветами дорогу грядущей новой культурной эпохе. Сам по себе он способен довести до возвеличения человека, дать новый толчек росту его гордости и к повторению ошибок прошлого. Но гуманизм, выросший на почве христианства, одухотворенный учением и жизнью Христа-Богочеловека, выведет мир на светлую и прямую дорогу. **Христианскую окраску гуманизма, смирение перед величием Божьим, должен и может дать русский народ.**

Великие эпохи были плодами слияния огромных народных комплотов. Слияние великой российской семьи народов с народами Запада, и только оно, сможет дать начало новой культурной эре. Таков сокровенный смысл истории нашего времени. Гуманизм станет подлинным духовным Ренессансом **после приобщения** к движению свободного российского народа. Этим совершенно неосознанным чувством, теплящимся в глубинах русского сердца, объясняем мы то трепетное волнение, которое производят на нас слова первых американских гуманистов — президентов Рузвельта и Трумана и лично глубоко симпатичной нам Элеоноры Рузвельт.

Покойный президент Рузвельт был гуманистом-утопистом. При всей обаятельности Атлантической Хартии, духовным отцом которой он был, ее гуманизм, ее принципы свободы и мирового сотрудничества покоились на утопической мысли о возможности соединить добро со злом, примирить непримиримое. Ошибка Рузвельта была в предположении, что может настать такое время, когда волки добровольно откажутся от овечьего мяса и станут мирно, вместе с овцами, пастись на международном лугу. Сын покойного президента, Эллиот Рузвельт, перешагнул грань утопизма и фанатизма и, очевидно, убедил себя — чтобы спасти всю концепцию, — в том, что волки уже стали овцами.

Но американский гуманизм, приняв рузвельтовскую Атлантическую Хартию, пошел другой дорогой: дорогой **борьбы** со злом, во имя торжества добра:

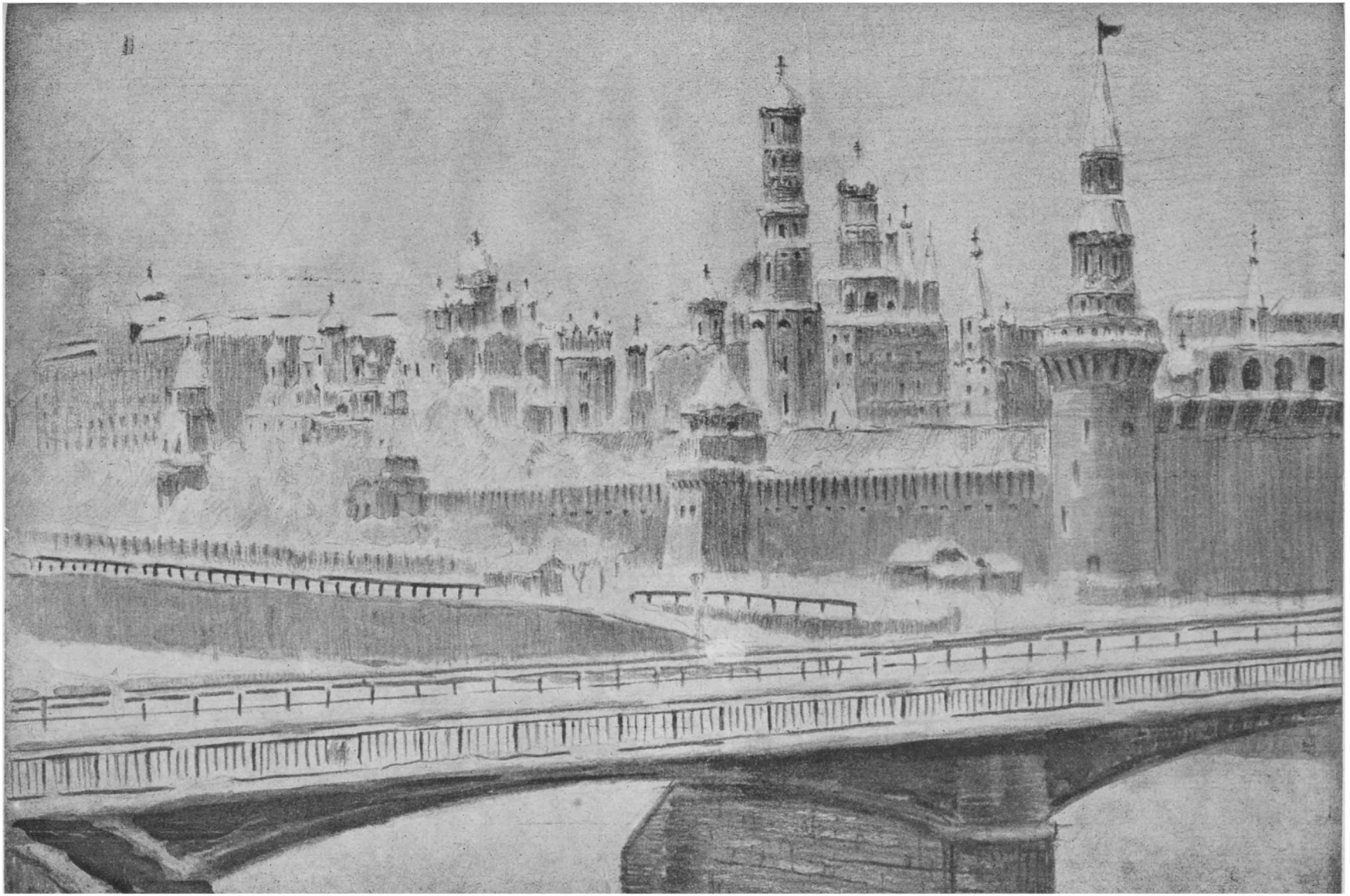
> «Ход истории сделал нас одной из самых сильных наций мира. Поэтому он возложил на нас особенную ответственность в отношении сохранения и правильного использования нашей силы в современном, столь взаимно зависимом мире» (Труман. Речь на открытии Ген. Асс. — «Америка и мир», стр. 32).

Президент Труман провозгласил четыре основных принципа свободы, ставших теперь символом борьбы гуманистов:

> Свобода слова,
> Свобода религии,
> Свобода от притязаний и
> Свобода от страха.
> («Америка и мир», стр. 29).

В своей речи на Рождественской елке президент произнес чудесные новые слова, зовущие к миру на земле и в сердцах людей:

> «Пусть нашими стремлениями руководят слова Иисуса Христа. Учение Христово должно нас всех объединить в борьбе за свободу каждого человека, за ответственность правительств в правителей, за свободную прессу, школу и за свободу слова.»



Борьба за свободу, стремление к высоким идеалам человечности и сохранение силы, во имя гарантии достижения высших человеческих свобод, составляет практический гуманизм американской политики.

Не случайно президент Труман включил в состав американской делегации в Организации Объединенных Наций г-жу Элеонору Рузвельт. Она уже давно играет видную роль в американской общественной жизни. Ее роль в вопросах международной помощи беженцам достаточно хорошо известна. Ей мы обязаны тем, что вопрос о беженцах из плоскости узко-правового и технического был поднят на высоту проблем человечности и права свободных людей. В этой плоскости она решительно и смело защитила людей, до которых ни ей, ни Америке, собственно нет и не было никакого дела. По инициативе г-жи Элеоноры Рузвельт Объединенные Нации приступают к выработке «Прав Человека», документа, свидетельствующего о приближении эпохи возрожденного человечества.

Нельзя пройти мимо книги Элеоноры Рузвельт «Если вы меня спрашиваете» («If You Ask Me»). Здесь собраны сотни вопросов, заданных великой гуманистке наших дней, и ее ответы на них. Вот один из вопросов, ответ на который — ответ торопливый — открывает широкий горизонт женщины-гуманистки:

> Вопрос: Что вы называете полноценной жизнью?
>
> Ответ: Полноценной жизнью для мужчины так же, как для женщины, я называю сознание, которое открывается деятельностью, приносящей полезные плоды для семьи, друзей, хотя бы немного для общей жизни человечества; деятельностью, приносящей радость и счастье. **Сознание, что живешь не только для себя, но и для других.**
>
> („Neue Auslese" № 11, 1946 г. стр. 33.)

В другом месте Элеонора Рузвельт, обращаясь к женщинам, говорит: «Наша задача заключается в том, чтобы стать хорошими гражданками». Как-то ее спросили, кто по ее мнению, три величайших женщины. Она ответила: Флоренсия Найтингол — самая великая женщина в мировой истории, потому что она призвала женщин помогать раненым на поле брани. Мария Кюри — потому, что она доказала, что женщины могут вести научную работу наравне с мужчинами. Гарриета Бичер-Стоу — не только за поставленную социальную проблему, но за мужество, с каким она была поставлена в ее «Хижине Дяди Тома». Милосердие, равенство и мужество — таковы качества достойных славы, и в них идеалы гуманизма.

Мак Лейш так определяет главный принцип гуманизма: «главенство ценности **и достоинства человека».** Ему принадлежит блестящее выражение о необходимости свергнуть с престола нефть и золото и поставить на первое место человека.

Современный новый гуманизм гораздо глубже, чем просто мягкое отношение к людям, милосердие. Он глубже, чем обеспеченная свобода личности. Гуманизм XX века признает личность «объектом исторического развития, через который идет развитие мироздания» (Ammerson: „Representative Men"), вплоть до преувеличенного лозунга: «Либо человек, либо ничего!»

Новый гуманизм совершает переоценку всех современных политических социально-экономических и религиозно-философских схем, освобождая человека от рабства материального и духовного, и возвращает ему утерянное им место во Вселенной. Он ломает узконациональные барьеры человеческого общежития смело набрасывая на историческом полотне картину мирового управления свободных и независимых народов с мировым Парламентом и мировым правительством. Доведенный до предела коллективизм основан в этой схеме на раскрепощении индивидуума. Признание коллективизма есть только признание естественного развития истории.

> «Кризис современных столетий происходит именно потому, что требования техники и цивилизации взорвали ограниченные рамки народных обществ, но в то же время цивилизация еще не нашла средств создать необходимые формы нового политического порядка.»
>
> (Reinhold Niebuhr: „The Children of Light and the Children of Darkness.)

Коллективизм в гуманистическом понимании есть только **форма общения людей,** но не новая система их государственно-политического подчинения и, тем более, закабаления. В социально-экономической области предстоит произвести такие изменения, которые позволили бы употребить на общую пользу богатства земли, вне зависимости от места их происхождения. Свободная Индия с одной стороны, свободный обмен продуктами с другой, — вот схема. В центре должен быть помещен свободный рабочий, свободный от страха безработицы, произвола и нищеты.

Сообщество людей станет подлинным **духовным сообществом,** ибо настало время **объединения веры.** Творец Мира один и един, а различное его восприятие — плод детского возраста человечества. Настало время снова придти Мессии и дать людям **общие** заветы любви, правды и справедливости. Будущее есть великая духовность и царство Богочеловека.

Таков путь, таковы стремления начинающейся эпохи нового гуманизма.

ЮРКА БАРТАШЕВИЧ

Згусткі думаў я ўзвышу
На праменьнях к сьветлым зорам,
Каб пад месяцем плывучым
Разглядзець у мутным сьвеце —
Хто каламуціць каламуту . . .

Я хачу ўзьняцца ў высі,
Над щыльней к нізам спусьцицца,
Буду сыпаць сьвятла бісер
Пакуль сэрца будзе біцца.

А як прыдзецца вярнуцца
У адпачынак аканчальны
Я мог сэрца супакоіць
Пад лампадай сьветлай праўды . . .

М. ТОЛИН

СМЫСЛ „БЕССМЫСЛИЦЫ“

Мы живем в страшное время. Двадцатый век принес с собою какой-то поистине чудовищный надлом и перелом в судьбах человечества, и трудно, бесконечно трудно осмыслить обрушившееся на нас нагромождение исторических потрясений и катастроф, в которых злоба и ненависть, месть и жестокость, ложь, предательство и подлость справляют свою оргию-тризну над останками Правды, Добра, Справедливости и Свободы.

Величайшая, кровопролитнейшая и разрушительнейшая война, как смерч, длившийся шесть лет, пронеслась над странами и народами нашей планеты. В мае 1945 года возвещено было ее окончание, и миллионы людей вздохнули облегченно, надеясь и веря, что »взойдет она — заря пленительного счастья«. Немало прекрасных речей произнесено было с тех пор; немало состоялось встреч между государственными деятелями великих и малых держав; немало конференций собиралось в крупных и мелких пунктах земного шара. Преисполненные благих намерений и добрых стремлений, все они говорили о прекращении вооруженных столкновений между народами, о наступлении новой светлой эры в жизни рода человеческого.

Но **мира нет.** Жестокая, а во многих странах и кровавая действительность свидетельствует неоспоримо, что призрак Страха и Смерти продолжает Дамокловым мечом висеть над людьми, бросая черную тень на широковещательные декларации и «хартии» глашатаев всеобщего благополучия. И мнится порою, что никакие мирные договоры не принесут умиротворения изверившемуся в торжестве права и справедливости человечеству.

Пытаться закрывать на это глаза бессмысленно и бесполезно. »Цивилизованное« человечество стоит на распутьи, и смутное, часто бессознательное ощущение апокалиптичности переживаемого определяет современное восприятие мира и жизни. Сумерки и закат «западной» — рационалистической — культуры возвещаются чуткими мыслителями, стремящимися в изменчивом потоке событий уловить пульс и сущность исторического процесса. Завершение эпохи »нового времени«, наступление **следующей** эры земного бытия человечества, рождение новых культур или духовное перерождение культур старых — вот основной мотив этих предчувствований будущего. В философии, в науке, в искусстве, в исторически как-бы застывших и казавшихся »вечными« религиозных представлениях и установлениях намечаются сдвиги, размах и последствия которых еще не поддаются ясному учету.

Очевидно одно: бытие и сознание современного человека находятся на пороге иных форм мироощущения и жизнепонимания, чем в последние пять веков господства рационализма; и »культурные« народы, вчера еще бесспорно и монопольно представлявшие »все человечество«, стоят сегодня на грани либо духовного **возрождения,** либо духовного **вырождения.**

Государственные и политические деятели, вершители судеб наций и стран в настоящий момент, предпочитают — за редкими, единичными исключениями—не видеть смысл переживаемой нами эпохи. Одни из них продолжают рассматривать историческую действительность, как столкновение и согласование интересов отдельных держав между собою; другие строят систему своей политической мудрости на принципе «борьбы классов»; третьи, хотя и твердят о »борьбе идей«, определяющей ныне ход развития человечества, но не додумывают этого положения до конца и сводят его на деле все к той же »политике« интересов.

В итоге — мира нет, ибо нет единой идейной и духовной основы, на которой можно было бы такой мир сколько-нибудь прочно построить.

Между тем, человечество уже распалось на два взаимно чуждых и враждебных лагеря, на два безусловно непримиримых стана. Столкновение между ними совершенно неизбежно, но произойдет оно не обязательно в плоскости политических конфликтов, в сфере экономических и социальных систем и отношений или по линии военных действий, ибо здесь, в области »материи«, компромиссы и соглашения возможны, даже вероятны. Борьба идет и будет итти в области духа — борьба извечных начал Правды, Добра и Свободы с неправдою, злом и насилием: **»Дьявол с Богом борется, а арена борьбы сердца человеческие«,** по слову Достоевского.

В этом и только в этом — содержание, сущность и смысл великих и грозных событий наших дней.

Но если не только христианство, а и другие великие религии — особенно, буддизм — оказываются несовместимыми с доктринами мира сего, сулящими человечеству спасение и благополучие вне Бога, то жизненный стиль современности выражается почти исключительно »экономическим материализмом«. При всей своей философской несостоятельности, он на практике определяет собою одинаково и социалистические и капиталистические формы человеческого общежития, стремится свести весь смысл божественного мироздания к категориям хозяйственных отношений. Человек превращается, по меткому сравнению проф. Успенского, в двухмерное плоское существо, способное двигаться лишь по двум плоскостям — производства и потребления. Господствующим становится тип полуавтомата — робота, бездуховного и бескультурного.

Элементарная в своей предельной пошлости формула: »Единственными двигателями исторического развития и прогресса являются голод и половое чувство« — эта формула не только духовно убога, но и »научно« несостоятельна, ложна. И, однако, не составляет ли она, начиная от грубо-циничных материалистических течений и кончая утонченными в своей »эстетичности« модными вещаниями, основного содержания теорий, учений и просто жизнеощущения современности, в своем отрыве от божественного источника всего сущего особенно легко поддающихся «прелести зла«?

Построить братство людей, а — тем более — братство народов на категориях производства и потребления, на »социологических« факторах голода и полового чувства или на «хартиях« политического рационализма и утилитаризма — мыслимо, можетбыть, теоретически, но на деле невозможно, неосуществимо. Прекращение войн, и международных и гражданских, — задача политически, социологически и экономически неразрешимая. Ни одна политическая, хозяйственная или социальная система, как ни один государственный строй, не являются, сами по себе воплощением начал Истины, Добра и Свободы. Без религиозной основы, оторванные от Бога и Правды Божьей, они неизбежно становятся — в той или иной степени — носителями неправды, зла и насилия, отражают в себе основной внутренний порок »современного« человека

„с его безнравственной душой,
себялюбивой и сухой,
мечтанью преданной безмерно,
с его озлобленным умом,
кипящим в действии пустом"

Новейшая история человечества эти положения, эти, в сущности, »простые« истины достаточно ярко подтвердила. Нужно, наконец, найти в себе честность и мужество открыто сказать, что всякий политический и социальный режим, лишенный религиозно-нравственного содержания, неминуемо вырождается в торжество и владычество злого начала. Это относится в равной мере к »капиталистическим« и »социалистическим«, к »тоталитарным« и »демократическим« формам человеческого общежития. Нужно осознать и осмыслить, продумать и прочувствовать, воспринять не только разумом, но сердцем и совестью, что несомненное и очевидное преимущество »западной« демократии перед тоталитарными системами различных цветов и оттенков обусловливается исключительно духовными ценностями, наследием религиозного — в частности христианского — подхода к человеческой личности, достоинство и права которой сознаются, как нечто фундаментальное, нерушимое.

Неизбежные в повседневной жизни пороки и погрешности формальной демократии не должны ни в каком случае закрывать от нас ее, пусть относительной, ценности, ее предельного приближения и напряженного потенциального стремления к ценностям абсолютным, осуществимым лишь через победу Бога над Дьяволом в сердцах человеческих. Под этим углом зрения необходимо рассматривать глубоко идеалистические в сути своей попытки отдельных светлых умов Нового Света внести начала Правды, Добра, Справедливости и Свободы в духовный хаос, грозящий поглотить мир и ввергнуть человечество в катастрофы, еще более страшные, чем пережитые им в последние десятилетия потрясения. Под этим углом зрения только и можно приступить к осуществлению на деле смелого по замыслу и подлинно-христианского по духу проекта Винстона Черчилля — плана создания Соединенных Штатов Европы, выдвигаемого ныне этим большим человеком и крупным историческим деятелем нашего времени, личность которого далеко не исчерпывается его политической ролью в рамках Британской Империи. Под этим же углом зрения следует приветствовать и действенно поддерживать идею Объединенных Наций, независимо от трудности ее практического проведения в жизнь и от ее еще несовершенной организации.

Ибо раскрытие в частной и исторической жизни заветов Христа задача необычайно сложная и требующая полного обновления и чрезвычайного напряжения духа, задача, не разрешимая без того, что именуется »духовным горением«. И думается нам, что русскому народу предстоит вложить и свою лепту в святое дело внутреннего преображения жизни и мира на нерушимом фундаменте извечных начал Истины, Добра и Свободы, излучаемых неугасимым источником божественного Света, исходящих от Бога, Который прежде всего Любовь. И завет апостола: **»Пусть языком твоим говорят ангелы, но если в словах твоих не будет любви, то они будут медью звенящей и кимвалом бряцающим«,** — этот завет встает перед миром, как единственное мерило всех ценностей. Любовь и жертвенность! Та любовь и жертвенность, что с такой силой выразил поэт:

„Верю в правоту верховных сил,
Разбудивших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: Ты прав, что так судил!

Нужно до алмазного закала
Раскалить всю толщу бытия...
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, вот плоть моя!"

А. СИБИРСКИЙ

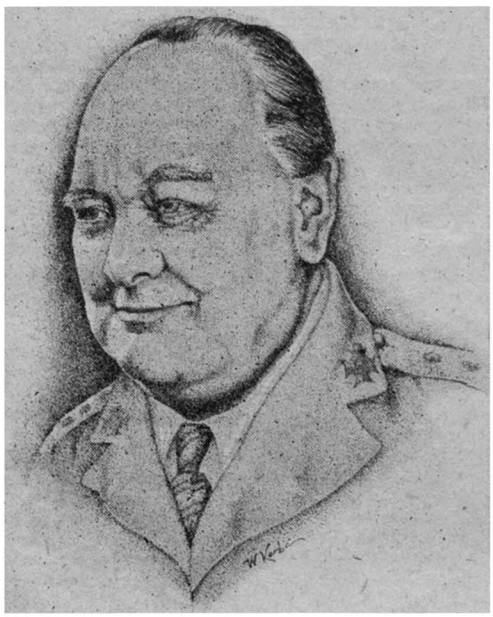
Соединенные Штаты Европы

Мысль о «Соединенных Штатах Европы» опять начинает занимать умы многих лучших людей этого «континента», географически представляющего собою лишь небольшой сравнительно отрезок, своего рода полуостров необъятного Азиатского материка, но политически и хозяйственно, а — с оговорками — и культурно, завоевавшего себе право не только считаться, но и быть особой частью света. Насущность этой, кстати — вовсе не новой, проблемы мировой политики была особенно ярко выдвинута и подчеркнута в начале этого года маститым государственным деятелем Великобритании, Винстоном Черчиллем, который 16 января 1947 г. вызвал в Лондоне к жизни «Комитет Объединенной Европы». Комитет, в который вошли выдающиеся представители всех вероисповеданий, политических течений и партий, выступил с горячим призывом — создать, наконец, в рамках Объединенных Наций Соединенные Штаты Европы.

Выступление Комитета и, в особенности, возглавление его такой колоритной, определенной и темпераментной личностью, как Черчилль, вызвали не только в самой Британской Империи, но и в широкой мировой общественности реакцию, в которой можно отметить всю мыслимую скалу чувств и отношений — от пламенной и восторженной поддержки идеи и до неприкрытого, дышащего чуть ли не ненавистью злопыхательства. Последнее относится к той части международной общественности, которая склонна видеть в плане Черчилля ничто иное, как попытку создания «европейского блока» против Советского Союза, хотя лондонский комитет достаточно недвусмысленно высказался за то, что образование Соединенных Штатов Европы желательно и возможно лишь на почве тесного и искреннего сотрудничества и с США и с СССР. Сам Черчилль решительно протестует против подозрения его в создании какого-либо протисоветского фронта: США должны войти

в состав Объединенных Нации, где состоит и СССР, полностью подчиняясь задачам и статуту СОН; таким образом, ни о какой организации блоков не может быть и речи.

Повторяем: идея Соединенных Штатов Европы отнюдь не нова. Философы и государственные деятели, мыслители и политики, больше того — даже многие полководцы Запада неоднократно выдвигали



план объединения всех наций и государств Европы на почве мира и справедливости. Империя Карла Великого еще тысячу лет тому назад покоилась на той же идее. Римские папы стремились, хотя и не всегда с годными средствами, к ее осуществлению. Во время Французской Революции 1789 г. план «Всеевропы» играл далеко не последнюю роль, и в империализме великого Наполеона ясно чувствуется его дыхание. Даже европейский легитимизм первой половины 19-го века был не чужд этому идеалу. Уже в наши дни такие французские политики, как Аристид Бриан и Эдуард Эррио, проводя в жизнь мысли их великого соотечественника Виктора Гюго, выступали со всею определенностью и свойственным им темпераментом в пользу европейского единства, а движение «Пан-Европы», возглавляемое графом Рихардом Куденховэ-Калерги, завоевало себе в 20-ых и 30-ых годах 20-го века видное место среди культурно-политических течений современной западно-европейской мысли. Не менее 26 государств оффициально и активно поддерживали работу «Пан-европейского Объединения», а тесное сотрудничество на этой почве между Брианом, с одной стороны, и Густавом Штреземаном — с другой, подводило под теорию Куденховэ уже солидный фундамент реально-политического действия. Смерть Бриана в 1932 г. и победа национал-социализма в Германии положили, однако, предел этому развитию. Но даже в империализме Гитлера жила, хотя и в искаженном до карикатуры виде, все та же идея «объединения Европы», тысячелетняя мечта маленького «континента», несколько столетий подряд решавшего и определявшего судьбы всего человечества.

В марте 1943 г. Винстон Черчилль выступил впервые со своим, построенном на трезвых предпосылках целесообразности и разумности, конкретным планом создания «Единой Европы», который имел бы самой главной своей задачей предотвращение всяких вооруженных столкновений между европейскими народами в будущем. Черчилль предлагал в рамках этого своего плана прежде всего создание «Европейского Совета» с приданным ему Верховным Международным Трибуналом, воскрешая своим предложением ничто иное, как идею покойного Российского Императора Николая II-го, который надеялся, что заключенная по его инициативе Гаагская конвенция и созданный ею Международный Трибунал в Гааге позволят, наконец, разрешать конфликты между державами исключительно мирным путем, на незыблемых основах международного права. В своей дальнейшей части план Черчилля предвидел свободу торговых отношений между европейскими нациями, уничтожение таможенных перегородок между отдельными странами, полную свободу передвижения из государства в государство. Он предполагал и возможность постепенного перехода к единой общеевропейской валюте. Вопросы национальной обороны должны быть подчинены общеевропейским интересам, и проблема безопасности должна быть разрешена во всеевропейском масштабе.

Следует отметить, что не только Черчилль является сегодня поборником этих идей. Такой государственный деятель, как министр-председатель южно-африканского правительства, Ян Христиан Сматс, выступил со всею решительностью, как определенный сторонник плана США. Но и Президент США, Гарри С. Трумэн, проводит в последние годы в отношении «Старого Мира» идеи, сводящиеся в основном все к тому же проекту создания «Объединенной Европы».

Политическая обстановка, характеризующая современное международное положение, не позволяет еще думать о практическом осуществлении плана Черчилля, против которого мобилизуются достаточно мощные силы противодействия и к которому относятся отрицательно такие державы, как СССР и Франция. Но слова Георга Зиммеля, что «ничто в мире не случается так, как о том мыслили пророки и вожди, но и ничто не случилось бы без пророков и вождей» — эти слова более, чем когда бы то ни было, применимы к политическим теориям, кажущимся подчас неосуществимыми и фантастическими и становящимися действительностью, когда «исполняются сроки».

Проф. А. П. ФИЛИППОВ

ДИАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ

Диалектика существовала еще в древне-греческой философии: так Аристотель называет основателем диалектики Зенона. Но до Гераклита она носила отрицательный характер в том смысле, что, хотя обнаружение противоречий в известной области и считалось основной задачей исследования, но зато обнаружение его и считалось признаком негодности знания. Так, Зенон, обнаружив противоречия в движении, просто отрицал возможность движения, и софист Протагор, обнаружив одинаковую правомерность двух противоречивых суждений по поводу всякого предмета, сделал отсюда вывод о невозможности достоверного познания вообще. В новое время отрицательный характер носила диалектика у Канта в его второй части трансцендентальной логики в «Критике чистого разума» — в «Трансцендентальной диалектике». Здесь Кант ставит себе задачей раскрытие призрачности и обманчивости трансцендентных, т. е. выходящих за пределы опыта, суждений. Кант указывает, что человеческому разуму присущи — так же естественно и необходимо, как зрению, — некоторые оптические обманы или известные иллюзии: разум стремится выйти за пределы опыта к безусловному, создавая абсолютные идеи души, мира и Бога, но запутывается в своих же собственных положениях, впадая в противоречие, т. к. происходит незаконное приложение понятий рассудка к «вещам в себе», а не к предметам опыта.

Диалектика же Гераклита носит положительный характер: наличие противоречия рассматривается им не как признак негодности знания, а как принцип гармоничности и подлинной разумности. «Разум создает сущее», утверждает Гераклит, «из противоположных стремлений» (1) — «должно знать, что война всеобща, что правда есть раздор и что все возникает через борьбу и по необходимости».(2) Поэтому-то у Гераклита в его безостановочной изменчивости всех вещей наблюдается единство противоположностей и противоречий: «в нас всегда одно и то же: жизнь и смерть, бдение и сон, юность и старость, ибо **это**, изменившись, есть **то**, и — обратно — то, изменившись, есть это»(3); «морская вода — чистейшая и грязнейшая, для рыб она питательна и спасительна, людям же негодна для питья и пагубна»(4); «муж считается глупым у Божества, подобно тому, как ребенок — у взрослого»(5); «самая прекрасная обезьяна — безобразна по сравнению с родом людей; мудрейший из людей по сравнению с Богом кажется обезьяной и по мудрости, и по красоте, и во всем прочем».(6)

В сознательной противоположности к этим положениям Гераклита, Аристотель в своей «Метафизике» формулирует свой знаменитый принцип непротиворечия: «Невозможно, чтобы одно и то же в одном и том же отношении в одно и то же время относилось бы к одному и тому же и не относилось к нему»(7), замечая, что Гераклит другого об этом мнения, но что, тем не менее, два подобных утверждения «попросту отрицают друг друга». И, действительно, как мы можем видеть, большинство противоречий Гераклита суть противоречия **не в одном и том же отношении и не в одно и то же время**, стало-быть, представляют собою с логической стороны смешение понятий. Однако, тем не менее, Аристотель все же нисколько не задевает основной мысли Гераклита о реальном наличии противоречий и о сглаживании их в непрестанном процессе изменения вещей. Не задевает принцип Аристотеля о непротиворечии и диалектику Платона. Как известно, у Платона диалектика понимается в двух смыслах: во-первых, как искусство вести собеседование — обычное понимание диалектики в древности, и, во-вторых, как совершенно бесспорный единственный метод, «пытающийся правильным образом достичь сущность всякой вещи».(8) Однако, по существу дела, у Платона имеет место не двойное понимание диалектики, а одно: именно собеседование у него ведет к образованию **определенного понятия**, а сущность всякой вещи у него это — **идея, понятие**; следовательно, у Платона диалектика — это нахождение эвристическим путем определения понятия или, что то же для него, сущности вещи. Поэтому у Платона диалектика — это логика и метафизика. В таком же смысле понималась диалектика в средние века, а так же иногда и наше время в аристотелево-схоластической философии.(9) Теперь спрашивается: каким же образом ведется, по Платону, собеседование, чтобы оно могло привести к образованию определенного понятия, или сущности вещи? На это сам Платон отвечает в «Тэетете», и это мы можем видеть у него постоянно — путем сталкивания и **борьбы противоположных утверждений.** Стало-быть, в этом смысле диалектика Платона сходится с диалектикой Гераклита. И, на самом деле, Платон не только считал столкновение противоречий характерной чертой диалектики, но он даже уже знал, что диалектика ведет иногда к **злоупотреблению противоречием.** Так, Платон не рекомендовал заниматься диалектикой незрелым людям: «Молодые люди после первых уроков диалектики», замечает Платон, «обращают ее в игру и **забавляются непрерывным противоречием.** Подражая тем, которые сбили их в споре, они стараются сбивать один другого и, напоминая собою молодых собак, тешатся тем, что бросаются со своими рассуждениями и рвут ими всякого, кто приближается».(10) Картина, которая нисколько не потеряла в своей жизненности и правдивости и по истечении более двух тысяч лет!

К сказанному мы должны добавить, что уже в древне-греческой философии неоплатоник Прокл установил три момента диалектического развития всего сущего: 1. **пребывание** его в единстве; 2. **выступление** из него другого в силу своего различия и 3. **возвращение** к нему в силу своего сходства, и проводил эту триаду на всем протяжении своей философии. Нетрудно видеть, что эта триада совпадает с тезисом, антитезисом и синтезисом, через которые проходит все сущее у Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Не подлежит сомнению, что самым крупным и непревзойденным диалектиком нового времени был Гегель. Правда, материалисты утверждают, что они поставили диалектику Гегеля «на ноги», т. е. перенесли ее из мира идей в мир действительности. Однако, справедливость требует отметить, что диалектика Гегеля обнимает собою развитие не только идеи, но и природы, всего сущего, и что критика Гегеля законов логики, понимание им движения и установленные им законы диалектики полностью воспроизводятся всеми позднейшими диалектиками, точно так же, как воспроизводятся ими все приводимые Гегелем примеры, поясняющие положения его диалектики.

И вот со времени Гегеля философской логике и основанной на ней философии стали противопоставлять диалектику и основанную на ней диалектическую философию. Вполне естественным является, следовательно, вопрос: чем же отличается диалекти-

ка от формальной логики и основанной на ней философии?

На это надо ответить, что формальная логика и основанная на ней философия признают многие положения диалектики. Больше того, многое из того, что диалектика выдает за свое величайшее достижение, давным давно известно уже недиалектической философии. Так, в недиалектической философии давно уже стала общим местом та «великая основная мысль о том, что мир состоит не из готовых законченных предметов, а представляет собою совокупность процессов» (выражение материалистов-диалектиков). Как известно, еще со времени Ляйэлия, Дарвина и Конта, внесшего окончательно принцип эволюции, соответственно в геологии (история земли), биологии и социологии (динамика общества у Конта — часть несравненно более важная, чем статика) а также Г. Спенсера, внесшего этот же принцип эволюции во все области бытия и мышления, вся наука и философия стала носить в высокой мере эволюционный характер, т. е. именно признавать непрестанное развитие, а отнюдь не какой-либо застой. Правда, в недиалектической философии развитие понимается в эволюционном смысле, т. е. в смысле постепенного изменения, и не в смысле изменения резкими скачками, как это утверждает диалектика. Однако, отсюда совершенно не следует, будто бы недиалектической философии совершенно чужда идея скачкообразного развития и перехода количества в качество. Идея скачкообразного развития лежит в основе «теории катастроф» в геологии и «мутационной теории» в биологии, а также в теории химических соединений (напр., легкий и мягкий металл — натр, в соединениях с тяжелым, ядовитым, зеленоватым газом — хлором дает нечто совершенно отличное от них обоих — поваренную соль — хлористый натр). А область социологии и область психологии с философией являются классическими областями по признанию принципа перехода количества в качество. Ни один социолог не утверждает, что общество просто равняется сумме составляющих его индивидов, но всякий социолог знает, что общество обладает такими свойствами, которых не имеется в простой сумме отдельных индивидов. Особенно разительно обнаруживается это на примере толпы: толпа может состоять из добродушных людей и оказаться жестокой, или же состоять из умных людей и оказаться безрассудной. Так же и современная психология, психология целостного образа, Gestaltpsychologie, резко утверждает, что психическое образование — образ восприятия отнюдь не может быть сведен к сумме своих частей, к связанности при помощи лишь простого «И» (Und-Verbindungen, Wertheimer), но всегда представляет собою нечто целое, необъяснимое при помощи своих частей, так как он является совершенно новым по сравнению с этими частями. До возникновения же Gestaltpsychologie, как известно, еще Вундт учил, что всякое психическое образование есть «творческий синтез», не могущий быть объясненным механически из своих составных частей. Разумеется, подобные взгляды можно обнаружить у многих философов и психологов (начиная с Аристотеля, утверждавшего, что целое первичнее своих частей), напр., у Авенариуса («характеры»), Эренфельса, Крюгера, Шуппе, Корнелиуса, Г. Мюллера, Мейнонга, Бергсона и др., т. к. они вообще характерны для тех, кто придерживается не «механических», а «органических» воззрений.

Что недиалектическая философия часто признает существование противоречий в вещах — это признает и сам Гегель (напр., обычные выражения: «всякая вещь несет в самой себе зародыш своей гибели», «жизнь есть смерть» и т. д.). Кроме того, нельзя не отметить, что недиалектической философии совсем не чужда и идея перехода одной противоположности в другую. Так, напр., у Вундта три основных универсальных психологических закона развития: закон духовного роста, закон гетерогенных целей и **закон развития одной противоположности в другую.**(11) Наконец, что недиалектической философии не чужда и идея слияния противоречий и сведение отдельных случаев в одно целое при помощи высшего синтеза — об этом свидетельствуют сознательно-синтетические системы таких философов, как Платон, Лейбниц, Фулье и др.

Но если недиалектическая философия признает многие положения диалектики, то в чем же в таком случае заключается разница между ними? Эта разница состоит лишь в общих принципах, из которых они рассматривают все мышление и все бытие. Эти общие принципы настолько различны в диалектике, с одной стороны, и в логике и основанной на ней философии — с другой, что приводят прямо-таки к прямой вражде между ними, при чем следует сказать, что нападающей стороной является диалектика. Объясняется это тем, что в то время, как логика, гордая и самоуверенная благодаря более чем 2000-ному господству своих принципов, а также благодаря поразительным по своему величию зданиям философии и науки, воздвигнутых на этих принципах, почти никогда не касается отношения принципов диалектики к своим принципам, а, если и касается, то лишь мимоходом, (12) диалектика, насчитывающая со времени Гегеля только около одной сотни лет, может утверждать свое господство лишь в том случае, если разрушит принципы логики. Вот почему, если формальная логика только в виде исключения касается диалектики, то всякая диалектическая логика, как правило, содержит в себе критику принципов логики.

Основной недостаток формальной логики сводится, по мнению Гегеля, к тому, что **законы ее — это только рабские силуэты застывших вещей,** применимые лишь к неподвижным вещам, но совершенно неприменимые к процессам, к движению, к изменению, к жизненности, словом, ко всему тому, что требует от мысли значительной гибкости. По утверждению Гегеля, формально-логическое, рассудочное мышление «не гибко и однообразно» и «в своей последовательности ведет к гибельным и разрушительным результатам».(13) Что означает эта критика формальной логики, это становится вполне понятным из тех упреков, которые делает Гегель формальной логике по поводу всякого из ее законов.

Логический закон тождества Гегель формулирует следующим образом: «Все равно самому себе, А = А»(14), поясняя, что под А надо разуметь все или всякое бытие.(15) Этот закон Гегель рассматривает, во-первых, как «пустую тавтологию», как «бессодержательный», и как «ни к чему не ведущий»(16); и, во-вторых, как грубое противоречие. Именно по самой форме этот закон обещает объяснить субъект каким-нибудь предикатом, и в то же самое время не исполняет его, так как повторяет, что А есть А.(17) Например, мы спрашиваем, что такое растение, и получаем в ответ — «растение есть растение»: ответ, хотя и правильный, но ничего не говорящий, или мы спрашиваем, что такое Бог, и получаем в ответ — «Бог есть Бог». Во всех подобных случаях мы обманываемся в нашем ожидании: мы ожидаем услышать «нечто» о спрашиваемом, и получаем в ответ «ничто». Поэтому, по Гегелю, подобные тождества являются не только скучным празднословием, но и противоположностью истины, противоречием — вместо обещанной истины из тождества выходит «ничто».(18) В результате критики закона тождества Гегель приходит к часто повторяемому положению, что одно голое тождество совершенно не мыслимо, и всякое тождество непременно предполагает и отличие — истина состоит в единстве тождества и отличия.

Логический закон противоречия Гегель понимает, как отрицательную форму закона тождества — «А не может быть одновременно А и не А».(19) По его мнению, и этот закон не имеет значимости, так как действительность свидетельствует как-раз обратное, а именно положение: «Все вещи сами по себе противоречивы».(20) Особенно заметна эта имманентная противоречивость в понятиях соотносительных, напр., верх и низ, правое и левое, отец и сын и т. д.; ибо верх есть то, что **не есть** низ, верх

определяется лишь тем, что он **не есть** низ, и имеется лишь постольку, поскольку имеется низ, и, наоборот, — во всяком из этих определений лежит его противоположность. Таким образом, здесь противоположность содержит в себе противоречие.([21])

Логический закон исключенного третьего Гегель формулирует следующим образом: «Нечто есть А или не А, и не существует ничего третьего, полагая, что его обычное понимание заключается в том смысле, что всякой вещи принадлежит из всех предикатов или данный предикат или его не-бытие.»([22]) На этом понимании закона исключенного третьего Гегель и строит критику его, которая сводится к двум положениям: 1. закон этот есть «тривиальность, ни к чему не ведущая», и он «настолько незначителен, что не стоит его произносить»; если из бесконечного множества предикатов выбирается какой-либо один и затем прилагается к определенной вещи, или в положительной, или в отрицательной форме, то отрицательная форма нам ровно ничего не говорит о субъекте, так как он есть лишь выражение отсутствия данного признака и полнейшая неопределенность, напр., согласно этому закону, мы можем сказать о духе, что он или сладкий или не-сладкий, что он зеленый или не-зеленый и т. д.([23]); и 2. закон этот неверен, т. к. он утверждает, что не существует ничего третьего, кроме А или не-А, + А или — А; между тем, как раз даже здесь существует нечто третье — просто А, которое является и ни + А и ни — А.([24])

Наиболее разительное посрамление законов формальной логики и в то же время наивысшее торжество диалектического закона противоречия Гегель видит в понятии **движения.** Гегель вполне присоединяется к мнению древних диалектиков-элеатов (Зенон), что понятию движения присуще противоречие, однако, он считает нужным сделать из этого положения не тот вывод, который они сделали, а именно, что движения не существует, но тот вывод, что движение есть **существующее** противоречие. «Нечто движется лишь», утверждает Гегель, «не тогда, когда оно находится в этом «теперь«, «здесь» и в другом «теперь», «там», но тогда, когда оно в том же «здесь» одновременно находится и не находится.»([25])

Уже из понятия движения у Гегеля становится ясным, какую огромную роль играет у него понятие противоречия. И, на самом деле, Гегель считает тождество принципом мертвого бытия и противоречие «корнем всякого движения и жизненности: лишь поскольку что-нибудь имеет в самом себе противоречие, движется оно, имеет влечение и деятельность».([26]) Объясняется это тем, что вследствие внутреннего противоречия вещь выходит из самой себя и приходит в изменение.([27]) Таким образом, все конечное изменчиво и преходяще, а это именно и есть ни что иное, как диалектика конечного, «благодаря которой последнее, будучи в себе иным самого себя, должно выйти за пределы того, что оно есть непосредственно и перейти в свою противоположность».([28]) Так, например, жизнь, как таковая, носит в себе зародыш смерти, противоречит себе внутри самой себя и вследствие этого снимает себя. Словом, диалектический момент, по Гегелю, «есть снятие такими конечными определениями самих себя и их переход в свою противоположность».([29])

Однако, по Гегелю, диалектика не кончается отрицательным моментом, так как отрицание является также и чем-то положительным — именно отрицательное содержит в себе, как снятое, то, из чего оно происходит, и не существует без него. Словом, в результате отрицания возникает положительно-разумный момент, который представляет собою единство определений в их противоположности, т. е. утверждение, содержащееся в их разрешении и в их переходе.([30]) Этот закон Гегелевской диалектики называется иногда законом отрицания отрицания.

Третий закон Гегелевской диалектики характеризуется, как закон перехода количества в качество. Корни свои этот закон имеет в учении Гегеля о мере, которая есть тождество качества и количества. Однако, несмотря на единство этих двух определений, Гегель указывает, что каждое из них может проявлять себя и само по себе, независимо от другого; например, увеличивается одно количество без изменения качества. Но за этим невинным изменением количественного скрывается **хитрость,** посредством которой улавливается качественное, а именно; это количественное изменение имеет свою границу, переход которой изменяет и качество.([31]) Таким образом, в данном случае изменение качества происходит не постепенно, но неожиданно, как бы из самого себя, путем скачка (вопреки обычному представлению, что в природе не бывает скачков), который как бы представляет узловую линию качественных моментов.([32]) Этот переход количества в качество весьма обильно иллюстрируется Гегелем примерами, как в Энциклопедии, так и в «Науке Логики»: Температура воды сначала не оказывает никакого влияния на ее состояние, но затем при возрастании или уменьшении температуры достигается точка, при которой вдруг происходит качественное изменение состояния воды — вода обращается в пар или в лед;([33]) прибавление одного зерна не составляет кучи, и выдергивание одного волоса не оголяет лошадиного хвоста — как заметили это уже древние, — но если мы будем прибавлять по одному зерну, и выдергивать все по одному волосу, то достигается, наконец, «такой пункт, когда создается качественное изменение — возникновение кучи и оголение хвоста лошади»;([34]) химические соединения представляют собою продукты, качественно отличающиеся от тех элементов, из которых они образуются.([35]) Кроме этих примеров Гегель приводит еще и примеры из области математики, музыки, морали, политики и т. д.([36])

Приступая к рассмотрению критики формальной логики со стороны диалектики Гегеля, мы должны прежде всего отметить, что вся критика эта основана на сплошном недоразумении. В самом деле, диалектика Гегеля упрекает формальную логику в том, что принципы ее не применимы к **вещам реального мира,** но формальная логика именно-то и не заботится об этих вещах, а устанавливает принципы исключительно **последовательности самого мышления с самим собою,** сплошную согласованность мыслимого и недопустимость искажения его. Недоразумение это объясняется до некоторой степени историческим путем. Как известно, первым, кто ясно формулировал принципы формальной логики, был Аристотель, особенно подробно остановившийся, как на основном принципе логики, на принципе противоречия, но формулировавший и принцип исключенного третьего, а также указавший на принцип тождества (до него на этот принцип указывали Платон и Парменид). Однако, все эти принципы были представлены Аристотелем не только, как принципы, приложимые ислючительно к мыслительной сфере, но и как принципы бытия, т. е. как принципы самих вещей. В конце средних веков последователь Дужа Скотта — Антонин Андрью выступил против мнения Аристотеля о том, что основным принципом логики является принцип противоречия, и доказывал, что таковым принципом является принцип тождества, которому он, однако, также придавал метафизическое значение (ens est ens = сущее есть сущее). Этот закон приняли потом Суарец и Деродон. В новое время закон тождества понимал в метафизическом смысле Локк, который впрочем не придавал ему почти никакого значения — «whatever is, is», the same is the same» («то, что есть, есть»; «одно и то же есть одно и то же»). Также и Лейбниц понимал его в метафизическом смысле: в «Nouveau Essai» он его формулирует следующии образом: «chaque chose est ce qu'elle est», т. е. всякая вещь есть то, что она есть. Вольф не соглашается с Лейбницем, что основным принципом является принцип тождества, а считает, что сам принцип тождества выводится из принципа противоречия, которому он придает метафизическое значение — «es kann etwas nicht zugleich sein und auch nicht sein» («ничто не может в одно и то же время быть и не быть»).([36])

Так обстояло дело до Канта (хотя, конечно, отсюда не следует, что не было мыслителей, которые рассматривали бы логические законы, как применимые исключительно к мыслительной сфере). Кант же с полной ясностью установил, что все эти логические принципы являются исключительно лишь принципами связного мышления, а отнюдь не принципами бытия. В своей «Логике» Кант вполне определенно ставит вопрос, существует ли общий **материальный** принцип истины, и отвечает на него также определенно, что такого принципа нет и не может быть, так как он противоречив: «нелепо требовать общий материальный принцип истины, который в одно и то же самое время должен отвлекаться и не отвлекаться от всех отличий предметов».(37) Наоборот, относительно существования общего формального принципа истины он отвечает утвердительно. «Так как формальная истина, — поясняет Кант, — состоит исключительно в согласованности познания с самим собою при полнейшем отвлечении от всех предметов вместе взятых и от всякого отличия их. А потому общие формальные критерии истины суть ничто иное, как общие логические признаки согласованности познания с самим собой, или — что одно и то же — с общими законами рассудка и разума.»(38) Итак, прежде чем решать так или иначе вопрос о согласованности познания с самими предметами, Кант считает необходимым решить вопрос о согласованности знания с самим собою — согласованности чисто-формальной, что и выпадает, по его мнению, на долю логики.(39) И вот общими формальными, или логическими критериями истины Кант считает: законы противоречия и тождества, закон достаточного основания и закон исключенного третьего.(40) Основным из них он считает закон противоречия, которому в «Критике чистого разума» он дает следующую формулировку: «Ни одной вещи не присущ предикат, который ей противоречит», поясняя, что «он относится только к логике именно потому, что имеет значение только для познания вообще, безотносительно к его содержанию», и говорит, что «противоречие уничтожает и разрушает это познание».(41)

Как известно, взгляды Канта на логику, как на чисто формальную дисциплину, получили весьма широкое распространение, и новая логика, даже распадаясь на множество направлений, все же не может пройти мимо этих взглядов Канта, трактуя о логических законах. «Логика, как я уже объяснил, — говорил знаменитый английский логик В. Гамильтон, — рассматривая одну только форму мысли с исключением ее содержания, не может вывести заключения из правильности образа мышления предмета к реальности самого этого предмета.»(42) В соответствии с этим Гамильтон рассматривает «законы мысли или логическую необходимость», как «общее повеление, которое, разумеется мы можем нарушать, но которое, если мы ему не повинуемся, делает наш процесс мышления самоубийственным и абсолютно ничтожным; следовательно, эти законы суть первичные условия возможности правильной мысли..., условия мыслимого».(43) «Формальная логика — наука последовательности, — разъясняет французский логик Рабье, — высший закон, с которым должна сообразоваться мысль, взятая, как таковая, во избежание абсурда, это — закон противоречия. Взятое само по себе, независимо от предмета познания, суждение или рассуждение является законным и правильным, поскольку оно не заключает в себе никакого противоречия, а наоборот, поскольку мысль, формулируя его, пребывает лишь в согласии с самой собою. Стало-быть, формальная логика есть наука о согласованности мысли с самою собою, или другими словами, наука последовательности.»(44) «Эти законы, — говорит другой французский логик Лиард, — проистекают из самой природы мысли, они управляют всем применением мысли, независимо от ее материала.»(45) Законы мышления и Минто называет просто «правилами логической последовательности»(46) и т. д. и т. д. Словом, диалектика Гегеля упрекает формальную логику в том, что законы ее неприменимы к вещам реального мира, а формальная логика, так как она именно есть формальная, не только не стремится распространить свои законы на вещи реального мира, но заведомо допускает полную правильность своих положений даже в том случае, если они противоречат действительности.

Относительно закона тождества, А = А, диалектика Гегеля указывает прежде всего на то, что это пустая тавтология. Но это не так. Если А берется не один раз, а два раза, и притом в обоих этих случаях — следовательно в двух разных случаях — сохраняет свое тождество, то это не пустая тавтология, ибо этого могло бы и не быть, т. е. одно и то же А, взятое в двух случаях, могло бы измениться. Конечно, Гегель вполне прав, что, если рассматривать А = А, как ответ на поставленный, вопрос (напр., что такое растение? — растение есть растение; что такое Бог? — Бог есть Бог), то в таком случае закон тождества просто нелеп. Но дело в том-то и состоит, что никто кроме Гегеля не рассматривает закона тождества в таком смысле. По своему прямому смыслу, закон тождества не только отвечает на какие-либо вопросы, но он и не ставит никаких вопросов, а просто делает возможным связное мышление: при мышлении «растение» этот закон требует быть последовательным и мыслить именно растение, а не подменять его, например, «животным», а при мышлении «Бог» мыслить именно «Бог», а не подменять его «материей».

Относительно закона противоречия диалектика Гегеля указывает на то, что логика игнорирует тот капитальной важности факт, что вещи присущи противоречия. Между тем, уже из того, что формальная логика выставляет принцип непротиворечия только как должный, следует, что она признает наличие некоторого противоречия. Если же мы примем во внимание, что формальная логика запрещает противоречия лишь в одно и то же самое время, в одном и том же месте и в одном и том же отношении (в одном и том же смысле), то отсюда вытекает, что формальная логика как-раз и допускает противоречие в весьма широком размере: именно она вполне допускает противоречие для вещи в разное время, в разном месте и в разном отношении (в разном смысле). И, конечно, всякий логик должен допустить, что в вещи могут быть противоречия, напр. жизнь заключает в себе элементы и жизни и смерти; человек может быть одновременно и умным и глупым, добрым и злым и проч. Однако, в отличие от диалектики, логик не ограничивается простым констатированием здесь противоречий, но стремится установить, в каком смысле имеются здесь противоречия. И тогда он устанавливает, что здесь противоречия имеются в разных смыслах — поскольку в жизни имеются элементы созидания (синтеза), это — жизнь, и поскольку в жизни имеются элементы разрушения (распада), это — смерть. А установив возможность противоречия для одной и той же вещи в одно и то же время, лишь в разном смысле, логик и применяет закон противоречия не вообще в отношении вещи, как это делает диалектик, а только в отношении одного и того же смысла вещи. Именно он утверждает, что если, например, в жизни мы обнаружили элементы жизни (или смерти), то закон противоречия и применяется к этим установленным элементам жизни (или смерти), а не к жизни вообще: если мы установили, что эти элементы жизни являются элементами жизни, то мы не можем сказать относительно их, что — это элементы не жизни, так как последним суждением мы сейчас же упраздняем и уничтожаем первое.

Наибольшей путаницы достигает диалектика Гегеля в своей критике принципов формальной логики в критике закона исключенного третьего, относительно какового наблюдается, впрочем, наибольшая путаница и в области самой логики. Диалектика считает совершенно неправильным полагать, согласно этому принципу, что всякой вещи принадлежит из всех предикатов или данный предикат или его отрицание, указывая, что вещи может принадлежать ни тот предикат, ни другой (т. е. его отрицание), а как-раз именно нечто третье: нельзя сказать,

что существует или + А или — А, когда имеется просто А, или нельзя сказать, что Сократ или сидит на стуле или не сидит на стуле, когда Сократа совсем нет в живых и проч. На подобное затруднение для принципа исключенного третьего указал уже, впрочем, и сам Аристотель, когда ставил вопрос, как надо разрешить согласно этому принципу положения «Сократ болен, и Сократ не болен», когда Сократа совсем нет. С этим возражением против закона исключенного третьего нельзя, однако, согласиться, так как оно основывается на неправильном понимании смысла закона исключенного третьего, как следствия из закона противоречия и закона тождества. Действительно, нельзя отрицать, что могут быть и суждения, которые совершенно не применимы — будь то в положительной, будь то в отрицательной форме, к какой-нибудь вещи, как напр., «Сократ болен или не болен», «сидит на стуле или не сидит на стуле», когда его совсем нет. Но дело в том, что закон исключенного третьего и не утверждает совершенно, что о всякой вещи можно утверждать любое суждение или в положительной или в отрицательной форме. По своему смыслу закон исключенного третьего утверждает только, что при **столкновении** двух противоречащих суждений в одном и том же пункте и **при невозможности приложения их обоих может быть приложено только одно из них** — или то, или другое. Если, например, я утверждаю, что Сократ болен какой-либо болезнью («демон Сократа»), а другой утверждает, что Сократ не болен этой болезнью в том же смысле, в котором я утверждаю, то оба эти суждения не могут быть приложены к Сократу и приходится выбирать какое-нибудь одно из них. Но должны ли столкнуться эти противоречащие суждения т. е. должны ли мы прилагать к Сократу какое-либо противоречащее суждение или нет, это совершенно не относится к закону исключенного третьего, как следствия из закона противоречия и закона тождества. Стало-быть, в пошлости и бессмысленности виноват не закон исключенного третьего, а те, кто сочли нужным и уместным прилагать к определенной вещи эти пошлости и бессмысленности; на пошлую и бессмысленную постановку вопроса ничего не может получиться иного, как пошлый и бессмысленный ответ.

Так как учение диалектиков о движении занимает место как бы посредине между их критикой принципов формальной логики, не способных будто бы объяснить понятие движения, и их положительным учением, базирующимся на движении, то теперь мы и должны приступить к рассмотрению диалектического учения о движении. Как мы уже видели, диалектика Гегеля, примыкая к критике элеатов (Зенона) понятия движения, провозглашает, что движение есть, наперекор всем логическим принципам, **существующее противоречие:** всякое движущееся тело во всякий момент времени своего движения и есть, и нет, точно так же, как и во всякой точке своего движенья оно и есть и нет. Надо сказать, однако, что Гегель воспользовался не только критикой Зенона понятия движения, но и самостоятельно развил понятие о движении, как заключающем в себе противоречие. Именно можно сказать, что, если Зенон, исходя из понятия движения, обнаружил в нем противоречие, — одновременность и «есть» и «нет», бытия и ничто — то Гегель наоборот, исходя из «есть» и «нет», бытия и ничто, обнаружил в этих противоречивых понятиях движение, единство бытия и ничто, и переход их из одного в другое есть становление. Отсюда видно, что учение о движении Гегеля и Зенона как бы восполняют одно другое и, можно сказать, проливают свет одно на другое. И, если диалектики противопоставляют свое учение о движении принципам формальной логики, то в этом они правы. Действительно, что может быть более отличного, чем учение Гегеля о становлении, как переходе ничто в бытие и наоборот, и учение логики о достаточном основании, утверждающем, что из ничто только и может быть ничто и нечто всегда возникает из другого нечто! Однако, недостаточно только ограничиться констатированием отличия между диалектикой и логикой по вопросу о становлении, но для того, чтобы разрешить его, надо **понять** это отличие. Ключ к пониманию этого отличия дает сам Гегель, когда с полной резкостью и определенностью называет свои элементы движения — чистое бытие и ничто — исключительно лишь чистыми и пустыми абстракциями.(47) Отсюда становится ясной разница в точке зрения на движение диалектиков и логиков. Логики говорят о движении, как о реальном процессе движения, а диалектики говорят о движении в смысле абстрактных пунктов в движении. В самом деле, когда логик говорит, напр., о росте человека на один аршин, то это реальное увеличение роста на один аршин не есть для него бытие, которое выросло из ничто, но, наоборот, все это бытие уже до некоторой степени содержалось по наследству в зародыше данного организма и постепенно выросло из этого организма с присоединением условий питания, известного образа жизни и т. д., так что относительно всякого элемента этого роста можно указать на те условия, из которых он возник необходимым образом. Диалектика же интересует не сам этот реальный процесс движения, но те абстрактные пункты, между которыми имел место этот процесс и которые устанавливаются в последствии, по окончании движения. И вот, сравнивая между собою только эти абстрактные пункты и откидывая самый процесс движения, диалектик приходит к заключению, что один из них есть пункт бытия, а другой пункт ничто — в отношении этого бытия, диалектика и говорит поэтому, как о результате движения, что ничто переходит в бытие. Так, напр., если человек вырос на один аршин, то, так как этого добавочного аршина не было, он был еще «ничто», диалектик и может сказать, что этот аршин вырос из «ничто». Однако, во всех подобных рассуждениях диалектик упускает из виду, что переходят друг в друга **реальные элементы** движения, но отнюдь не **абстрактные пункты**, которые образуются или лишь в последствии, по окончании движения и по подведении нами итогов ему, — которые, стало-быть, в действительности не могут переходить в друг друга, а могут переходить лишь в виде метафоры, которую диалектики, однако же, принимают за реальность. И вот, совершенно так же, как у Гегеля в движении, элементы «ничто» и «бытие» **переходят** друг в друга, — тогда как в действительности переходит лишь то, что находится между этими моментами — у Зенона в движении **сливаются** друг с другом те моменты, между которыми происходит это движение. В самом деле, если слить вместе тот момент времени или протяженности, где движущееся тело уже имеется, и тот момент времени или протяженности, где движущееся тело еще не имеется, то в этом слитом моменте, очевидно, движущееся тело и будет иметься и не будет иметься, оно и есть, и нет. Но все затруднение и состоит в том, насколько возможно сливать во-едино два момента, между которыми происходит движение, не оставив места между ними никакому процессу движения? Отвечая на этот вопрос, мы должны сказать: если диалектик мыслит себе момент времени и протяженности лишенными какого бы то ни было течения, хода и изменчивости, то он разрушает понятие времени и протяженности, которые абсолютно немыслимы без этих свойств, а вместе с ними он разрушает и вообще самое понятие движения, которое абсолютно невозможно без понятия времени и протяженности; если же он мыслит себе момент времени и протяженности, обладающим каким бы то ни было безконечно малым течением, ходом и изменчивостью, то в этом течении, ходе и изменчивости умещается и какой бы то ни было безконечно малый процесс движения, который до наступления этого момента времени или протяженности еще не имеется, а с наступлением его — уже имеется. Словом, диалектик может или признавать противоречия в движении (в один и тот же момент движущееся тело и есть и нет) — и тогда он приходит к уничтожению движения, или же признавать движение — и тогда он приходит к принципам формальной логики.(48)

Переходя к рассмотрению первого закона диалектики Гегеля — к переходу всякой вещи в свою противоположность, мы должны прежде всего отметить, что этот закон находится в прямом противоречии с собою; его же критикой с точки зрения диалектики закона исключенного третьего — если о всякой вещи нельзя сказать или да или нет, так как может быть еще и третье, помимо этих двух крайних пунктов, то как же всякая вещь обязательно переходит в свою противоположность, а не во что-нибудь третье, помимо этих двух противоположных пунктов? Затем, ведь в вещи может заключаться не только ее противоположность, но бесконечное множество вещей, которые стоят между тождеством вещи и ее противоположностью — «другим самого себя в себе», по выражению Гегеля, и, стало-быть, вещь может переходить не только в свою противоположность, но и во всякую вещь из этого бесконечного множества. Действительность гораздо менее прямолинейна и несравненно более богата в своих превращениях, чем диалектика. Дерево может, например, одинаково превратиться и в золу, и в скипидар, и в деготь, и в бумагу, и в мебель, и в постройку, и в уголь и т. д. Наконец, и сама категория «противоположность» отнюдь не представляет собою объективной реальной категории, под которую подпадают сами собою вещи реального мира, но она есть категория совершенно произвольная, и вполне субъективная, в которую мы помещаем вещи по своему усмотрению в зависимости от нашей точки зрения. Напр. если мы имеем «бриллиант» или «алмаз», то «противоположность» его будет вполне неопределенна и зависима вполне от нашего усмотрения. Так, если мы поместим «бриллиант» в класс «меновых ценностей», то противоположность его будет «бумаги, потерявшие ценность»; если мы поместим его в класс «тел, имеющих одинаковый химический состав и обладающих ценностью», то противоположность его будет «уголь»; точно так же в классе «твердых камней» противоположность его будет «песчанник», в классе «тяжелых камней», — «кварц», в классе «украшений, отличающихся игрой» — «стекло» и т. д. Насколько неопределенным является понятие «противоположности» может показать пример «бороды» и «лысины» играющих такую заметную роль в после-Гегелевской диалектике, — что является противоположностью бороды и лысины и куда они должны переходить? Критика законов противоположности предрешает и наше отношение к закону отрицания отрицания. Совершенно подобно тому, как противоположность не есть объективная категория, относящаяся к самим вещам реального мира, а есть категория чисто субъективная, простое мыслительное положение, точно так же обстоит дело с категорией отрицания или противоречия (а и не-а), или двойного отрицания. В самом деле, при отрицании мы помещает данную вещь в какой-либо определенный класс, а затем утверждаем, что данная вещь не относится к этому определенному классу. Так, если диалектика утверждает, что проросшее ячменное зерно «отрицает» ячменное зерно, то это значит, что она помещает ячменное зерно в класс «целых семян», а затем утверждает, что проросшее ячменное растение не относится к этому классу, «не есть» целое зерно. Затем, совершенно так же, как между данной вещью и ее противоположностью существует бесконечное множество вещей, в каковые данная вещь может переходить, так это имеет место и относительно данной вещи и ее отрицания. Словом, отрицание есть чисто **мыслительная схема,** которую мы можем образовать **для какой-либо определенной цели,** но каковая схема отнюдь не может исчерпывать все бесконечное многообразие объективной действительности. Так, если утверждается, что выросшее из ячменного зерна растение есть «отрицание» ячменного зерна, то тем самым менее всего считаются с бесконечным многообразием объективной действительности — которая нас именно и интересует — т. е. не считаются совсем со множеством фактов, необходимых для роста ячменного растения: с предзаложенными (ботаническими) свойствами ячменного зерна, с механико-физико-химическими свойствами почвы, с температурой почвы и воздуха, с влажностью и т. д. Если же этот закон диалектически говорит об отрицании отрицания, о двойном отрицании, то по этому поводу можно только отметить, что дело идет о двойной ошибке, о повторении одной и той же ошибки два раза.

Наконец, что касается третьего закона диалектики Гегеля — перехода количества в качество, — то мы уже отмечали, что это явление иногда действительно имеет место. Однако, если диалектика выдает его именно за закон, то она и должна более точно установить, на какие объекты распространяется это явление, при каких условиях оно имеет место и каким именно образом оно происходит. Во всех случаях перехода количества в качество мы все же должны знать **качества** этого определенного количества, их **взаимоотношения** и **способ соединения** их в новое качество. Только в таком случае закон этот станет разумным и понятным. Между тем, диалектика совершенно не занимается выяснением всех этих вопросов, связанных с переходом количества в качество, а потому закон этот является просто asylum ignorantiae (приют для невежества), подобно тому, как закон противоречия является оправданием нелепости и погоней за парадоксальным абсурдом. Напр. При разрешении вопроса о психическом, диалектика просто указывает, что согласно закону перехода количества в качество, материя на известной ступени перешла в дух, который есть свойство материи, нисколько не пытаясь даже выяснить, **каким образом** материя перешла в дух, и **каким именно свойством** материи является дух. Кроме того, полное отсутствие понимания смысла механизма перехода количества в качество приводит к тому, что под этот закон часто подводят явления только по одним поверхностным признакам, тогда как при более глубоком знакомстве с ними — каковое должно было бы быть, если бы старались проникнуть в самый механизм перехода количества в качество — они не могут быть подводимы под этот закон, а являются именно постепенным суммированием. Сюда относится, например, знаменитое в Гегелевской диалектике положение, о переходе воды в пар, которое начинается вдруг при 100°, между тем, как свойством всех тел вообще, и при всякой температуре, является то, что они постоянно испаряются (большинство тел испаряется крайне слабо и медленно, но не все, напр. камфора), затем при повышении температуры это свойство увеличивается, а при температуре кипения это свойство парообразования проявляется во всей массе жидкости — стало-быть, во всем этом парообразовании нет никакого скачка, а имется постепенность. Как мы уже говорили, Гегель иллюстрирует закон перехода количества в качество также примерами «куча» и «лысина» ; таким образом, софизмы древности используются для обоснования теории нелепости нового времени. Между тем, когда совершенно очевидно, прежде всего, что и куча и лысина, образовываемые в результате придачи по одному зерну и вырыванию по одному волосу является как-раз только именно простой суммой многих зерен и простой суммой многих выдернутых волос, и больше ничем. Правда, как мы видали уже, из того, что одно зерно не составляет кучи, и один выдернутый волос не составляет лысины, а, придавая одно зерно к другому, мы **где-то** в этой придаче образовываем кучу, и, выдергивая один волос за другим, мы где-то в этом выдергивании получаем лысину. Гегель делает вывод, что здесь мы имеем дело с таинственным законом перехода количества в качество. Между тем, все это может быть объяснено чрезвычайно просто, если мы отдадим себе ясный отчет, что такое куча и лысина. Так как куча есть ничто иное как именно более или менее значительное множество зерен, а лысина — отсутствие более или менее значительного множества волос, то совершенно ясно, что одно зерно не составляет кучи и один выдернутый волос не образует лысины — ибо куча и лысина суть именно **множество** зерен и выдернутых волос; точно так же совершенно ясно, что

именно где-то, на **неопределенной** ступени этот процесс прибавления по одному зерну и выдергивания по одному волосу должен привести к образованию кучи и лысины — ибо и куча и лысина суть именно более или **менее значительная** совокупность зерен или выдернутых волос, т. е. по самому существу своему множество **неопределенное.** Таким образом, для объяснения софизмов «куча» и «лысина» требуется не какой-то таинственный закон диалектики, но только последовательное мышление понятий «куча» и «лысина», согласно простому логическому закону тождества.

Словом, диалектика Гегеля отрицает законы логики, не зная и не понимая их; знание же и понимание законов логики приводит неминуемо к отрицанию диалектики Гегеля.

ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ „ДИАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ"

[1]) А. Маковельский: «Досократики», часть 1, Казань, 1914 год, стр. 192-Аэций.

[2]) Ib., стр. 161 — фрагменты из «О природе».

[3]) Ib., стр. 162.

[4]) Ib., стр. 158.

[5]) Ib., стр. 161.

[6]) Ib., стр. 115.

[7]) La métaphysique d'Aristote, tr. par Pierrot et Levost t. I., Paris 1840, p. 114.

[8]) Ib., стр. 115.

[9]) См. напр., A. Lehmen: Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage, Freiburg im Breisgau, 1923, S. 3.

[10]) L. c. p. 119.

[11]) В. Вундт: Очерк психологии. Пер. под ред. Н. Грота, Москва, 1897 г., стр. 280.

[12]) Беглую, но редкую в системах формальной логики критику принципов диалектики мы встречаем у О. Кюльпе в его «Vorlesungen über Logik", 1923, S. 99 и т. д. Обстоятельная критика диалектического метода у Тренделенбурга идет не по линии взаимоотношения общих принципов логики и диалектики, но по линии критики всей системы Гегелевской диалектики (ибо у Гегеля система и метод — одно и то же), причем основная мысль Тренделенбурга — как-раз именно и противника чисто формальной логики — состоит в том, что Гегель не может строить свою логику, как развитие одной чистой мысли, без привнесения в нее украдкой данных эмпирической реальности, начиная с его знаменитого положения, что из «бытия» и «ничто» образуется «становление» — «последнего никогда бы не вышло из двух допущенных нами неподвижных отвлеченностей — чистого бытия и чистого ничто — не предшествуй им движение, как вечно живое созерцание» («Логические исследования», перев. Корша, часть 1, Москва 1863, стр. 44).

[13]) Гегель: Энциклопедия философских наук, ч. 1 — Логика, пер. Б. Столпнера, Гос. Изд., 1929, стр. 131.

[14]) G. W. F. Hegels Werke — Wissenschaft der Logik, 4. Band, Berlin, 1839, 2. Abt. — Die Lehre vom Wesen, S. 27; jb. S. 28.

[15]) Ib., S. 22.

[16]) Энциклопедия, l. c. S. 197.

[17]) Wissenschaft der Logik, l. c. S. 35.

[18]) Ib., S. 27. 36.

[19]) Ib., S. 67.

[20]) Ib., S. 70.

[21]) Ib., S. 66.

[22]) Ib., S. 66.

[23]) Ib., S. 67.

[24]) Ib., S. 69.

[25]) Ib., S. 68.

[26]) Ib., S. 69.

[27]) Энциклопедия, l. c., стр. 136.

[28]) Ib., стр. 135.

[29]) Ib., стр. 139.

[30]) Энциклопедия, стр. 186.

[31]) Wissenschaft der Logik, I. Teil — Die objektive Logik, I. Abt. — Die Lehre vom Sein. — Berlin, 1833, S. 443, 447, 448.

[32]) Энциклопедия, стр. 186 и Wissenschaft der Logik, S. 450.

[33]) Энциклопедия, стр. 186—187 и Wissenschaft der Logik, S. 450.

[34]) Wissenschaft der Logik, S. 449.

[35]) Ib., S. 448—452.

[36]) Vernüftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen — Frankfurt und Leipzig, 1738, S. 6.

[37]) J. Kant: Logik, herausgeg. von G. Jasche, Königsberg, 1800, S. 71—72.

[38]) Ib., S. 72.

[39]) Ib., S. 72.

[40]) Ib., S. 75.

[41]) Критика чистого разума, пер. Н. Соколова, Петербург 1902, стр. 145.

[42]) Lectures on Logic by Sir W. Hamilton, vol. 1, sec. ed., Edinbourgh and London, MDCCCLXVI, p. 106.

[43]) Ib., p. 49.

[44]) Rabier: Leçons de philosophie, II. — Logique, 2 ed., Paris, 1888, p. 6.

[45]) L. Liard: Logique, Paris, 1884, p. 27.

[46]) В. Минто: Дедуктивная и индуктивная логика, пер. под ред. В. Ивановского, 2-е издание, Москва, 1909, стр. 36.

[47]) Энциклопедия l. c., стр. 148, 149, 154.

[48]) Что другое возражение Зенона против движения — «Дихотомия» (движущийся предмет, прежде чем достигнуть какого либо места, должен предварительно пройти половину этого, пути, затем половину этой половины и т. д. до бесконечности, — нельзя пройти бесконечное в конечное время) и «Ахиллес» (быстроногий Ахиллес никогда не может догнать черепаху, т. к. каждый раз, когда он достигает занимаемое ею место, черепаха успевает продвинуться вперед, и таким образом, чтобы догнать черепаху Ахиллесу необходимо занять бесконечное множество мест, занимаемых черепахой) — основывается на смешении различных понятий: вполне конечной протяженности и внутренней неисчерпаемости этой протяженности; на это указал уже основатель логики Аристотель, отметивший, что в этом случае пространство вполне конечно, а бесконечна лишь его делимость, так что бесконечная делимость пространства покрывается бесконечной делимостью времени. В общем, к этим взглядам Аристотеля примкнули и последующие логики, как Бенеке, Лотце, А. С. Милль и Ибервег, указавшие на то, что Ахиллес не догонит черепахи до известного пункта; но отнюдь не никогда и нигде, а где именно он ее догонит, это можно точно вычислить. В основном ко взгляду Аристотеля примыкают также Шуппе и Кюльпе, указавшие на то, что движение не может быть рассматриваемо, как состоящее из точек покоя, а, наоборот, движение состоит из безконечно-малых отрезков движения в бесконечно-малых отрезках времени и протяженности, так что интегрирование их и составляет определенное данное движение. Обычно Аристотелю возражают, что его замечания все же не упраздняют основной трудности, подмеченной Зеноном, — именно невозможность представить себе исчерпанной бесконечность. Однако, с этим замечанием нельзя согласиться. В возражениях Ари-

стотеля центр тяжести лежит не в возможности исчерпать бесконечное, но в возможности решить задачу с определенными величинами, даже и тогда, когда эти величины внутренне-неисчерпаемы. И это замечание Аристотеля вполне правильно и необходимо, так как оперирование с определенными величинами — это одна задача, а исчерпание — их это задача совсем другая. И можно сказать, что если бы мы не приступали к оперированию какими бы то ни было величинами до исчерпания их всего содержания, то мы вообще никогда не могли бы приступить к оперированию с ними. Если бы требовалось предварительно исчерпать все те понятия, с которыми мы оперируем, то мы не могли бы сделать даже такого простого умозаключения, как «человек смертен, Сократ — человек — Сократ смертен», ибо несомненно, и «человек смертен» и «Сократ — человек» — все это — понятия неисчерпаемые. Итак, возражение Аристотеля и его последователей против диалектического понимания движения вполне правильно и, если ему и недостает чего-либо еще, так это только выяснения, каким образом приходит диалектика к своему понятию движения, и какие именно ошибки кроются в самом этом понимании.

З. АГАТГОРН

Театральные арабески

„Mais rappelez vous donc, que l'acteur ne laisse rien apres lui, qu'il ne vit que pendant sa vie, que sa memoire s'en va avec la generation à laquelle il appartient, et qu'il tombe du jour dans la nuit."

(Al. Dumas. Kean, acte II, scène IV.)

«Из всего бренного и преходящего на нашей земле, бесследнее всего уносится в забвение сценическое искусство» — записал в своих мемуарах знаменитый балетмейстер прошлого века Бурнон Виль. Это меланхолическое признание человека, всю жизнь посвятившего театру, невольно приходит на память, когда стараешься вникнуть в сущность театрального искусства, восстановить его историю.

Что, в сущности, остается от актера?

Перечтите сотни театральных мемуаров, сотни актерских биографий — вы найдете в них множество событий и подробностей, касающихся жизни актера, и почти ни одного факта, касающегося его искусства. Много, много — перечень ролей и успехов, и ни одной детали, его «игры». Все эти описания и воспоминания остаются, в конце концов, житейскими, а не сценическими биографиями.

Перечтите тысячи современных рецензий, что найдете вы в них относительно сценической техники? Почти ничего.

Критика охотно указывает на недостатки понимания того или иного образа или типа, но проходит мимо технических приемов и почти никогда не отвечает на вопрос какими средствами воплотить этот образ, как должна быть сыграна роль.

Актер входит в историю, как человек, и меньше всего, как актер. И не случайно все так называемые истории театра сводятся, в сущности, к истории драматической литературы. Настоящая история театра, никем еще не написанная, хранится где-нибудь в котомке странствующего суфлера, в режиссерских отметках на пожелтевших от времени листках игранных когда-то пьес, запечатлевших выходы, паузы, жесты, свет и реквизит старого театра. И мы знаем только о жизни больших и известных актеров, удостоившихся собственной «биографии».

Но что мы знаем об остальных, об огромной «серой» массе нередко очень талантливых людей, память о которых не сохранила даже самых их имен? Кто были эти люди в кричащем платье, которые длинной вереницей, страдая, волнуясь и любя, проходили по провинциальной сцене; как, в какой обстановке играли они? И не заслуживают ли они лучшей участи, чем участь безымянных грешников дантовского ада, о которых поэт сказал:

— Non raggionam di lor, ma guard' e passa!

☆

Этот недостаток театральной критики — преобладание что над как — совершенно очевиден. Причины его глубоки, и одной из главных у нас, по крайней мере, является то,

что театр, и чеховский в особенности, являлся (и является?) в гораздо большей степени театром чувства, настроения, переживания, образа, чем театром техники, в котором совокупность сценических приемов, культура слова, жеста, мимики и движения, передаваясь из поколения в поколение, составляла бы театральную традицию и школу.

В русском театре все шло от интуиции и вдохновения, и в этом была особая, «мочаловская» черта его, о которой писал еще Белинский.

Мочалов был, несомненно, велик, иначе он не вызывал бы театральных восторгов у современников, но разве поймет современный актер, прочитав «Великого трагика», как играл Мочалов? Актера «вели на нутре», на «воспитании чувств», а не на технике, и, собственно, у нас не было школы, а была совокупность счастливых находок, подсказанных талантом и вдохновением.

Хорошо это или нет, — другой вопрос, но этой черте русского театра мы обязаны незабываемыми минутами счастья и театральных восторгов. И даже — чуда! В № 2 «Нашего Времени» Л. Д. Рындина чудесно описала спектакль, когда Г. Н. Федотова, уже много лет парализованная, в порыве вдохновения пошла по сцене.

В «Дикарке» есть место, когда молодая девушка уезжает в лодке с влюбленным в нее человеком. Когда они возвращаются, ясно, что совершилось неизбежное. М. Г. Савина показывала это одним замечательным приемом: за сценой она вынимала из волос вплетенную в них красную ленточку. Это было настоящей интуицией, и когда ей об этом сказали, М. Г. ответила:

— «Что это? Что я ленточку-то выдернула? Я и не подумала об этом!» — Но Савина была не только замечательной актрисой, но и замечательным человеком, и те, кто хотели видеть в ней только истеричку и интригантку, забывали, что перед ними была женщина, внушившая любовь И. С. Тургеневу, и бывшая в переписке с А. Ф. Кони.

Один случай хорошо характеризует ее чуткую душу, душу, без которой не могло быть в ней и настоящей большой актрисы. В Москве, во время великого поста, когда туда съезжались все актеры, умер В. В. Чарский. В 80-х годах это был очень известный актер, гастролировавший по провинции с шекспировским репертуаром. Об его смерти было объявлено в газетах, но произошло то, что бывает обычно в таких случаях: ни один человек не пришел проводить бедного Чарского. В этот день Н. Н. Синельников был разбужен ранним звонком. У дверей стояла М. Г. Савина.

— Одевайтесь и едем!

— Куда?

— Вы не знаете? К Чарскому.

Синельников что-то слышал, но забыл. Поехали. У одинокого гроба одинокая женщина с восклицанием благодарности бросилась к Савиной. Кто испытал чувство одиночества у дорогого гроба, поймет ее чувства!

В памяти встает незабываемый вечер, в котором П. В. Самойлов читал свои мелодекламации*). В огромном зале было холодно и неуютно, как всегда, когда бывает немного народу. На эстраде старый человек с закрытыми глазами, с слегка свистящим уже произношением, читал:

Счастлив, кто спит,
Кому в осень холодную,
Грезятся ласки весны!

Последний стих он не то что произносил нараспев, а просто пел вполголоса, тихо и нежно, словно в полусне. И вот, совершенно бессознательно, все поднялись со своих мест. Идут к эстраде, окружают ее. Самойлов кончил. Минуту длится молчание, потом взрыв. Апплодисменты смешиваются с криками восторга. Самойлова обнимают, умоляют читать еще. Смущенный он бросает сидящему в первом ряду Н. Н. Синельникову:

— Что читать?

— Читай «Тучки»!

И снова, снова без конца!

Это было подлинным вдохновением, и оно породило возбуждение и радость толпы. Это было то вдохновение, то неподдельное чувство, тот порыв, который вызывал слезы над Офелией в исполнении А. Н. Антоновой (Матвеевой), чудесной русской женщины, очень красивой, немного рыхлой, без особенного литературного образования. Она была воспитана на французской оперетке, в которой пела куплеты Венеры из «Орфея в аду»:

„Je suis Venus et mon amour
A fait l'ecole buissonière."

Много лет спустя, будучи антрепренершей на юге, Антонова совершенно неожиданно для всех сыграла Офелию, и сыграла так, что в сцене сумасшествия театр стонал от слез и апплодисментов. А играла она не в каком-нибудь дачном спектакле, а в ансамбле, в котором роль Гамлета исполнял М. И. Бабиков, Лаэрта играл молодой тогда Е. Я. Неделин и могильщика — Т. А. Чужбинов, имена, много говорящие старым киевлянам.

☆

Старый русский театр чувства был театром «действия», четких театральных линий,

*) Теперь этот жанр незаслуженно забыт, но старые актеры владели искусством читать под музыку в совершенстве. Нельзя забыть очаровательное чтение «Левкоев» М. А. Ведринской!

четкого построения драмы, в котором все вытекало одно из другого. И развивалось по строгим театральным законам, в котором ничто не было лишним, ничто не задерживало напряженного внимания зрителя. И законы эти были завещаны еще романтическим театром и восприняты через мелодраму, являющуюся истинно театральным жанром. Такой театр «действия» был немыслим без театральных «эффектов», и без участия в нем неодушевленных предметов. Весь реквизит как бы участвовал в спектакле и был центром действия. Когда в «Коварстве и любви» старый Миллер входит в комнату со свечей, ставит ее на стол и тушит ее, то все внимание зрителя сосредоточивается на этом «действии», на игре с неодушевленным предметом, и в нем заключается вся сила театрального воздействия.

Когда в «Ограбленной почте» злодея изобличает забытый им на месте преступления кнут, — зритель с захватывающим вниманием следит за этим неодушевленным участником спектакля. Может быть, искусство актера и состояло в том, чтобы заставить зрителя поверить в действие «вещи», театрального реквизита, во все эти кулисы и облака, рампу и софиты, словно оживающие силою сценического волшебства.

И какую роль играл при этом старый спускающийся занавес! В «Блуждающих огнях» —Лелечка (ее играет молодая «драматическая») не может сдержать признания в любви к герою — Максу, любящему ее старшую сестру. Лунной ночью, с балкона она, в страстном порыве, говорит Максу, стоящему внизу в саду: «Макс, я люблю Вас!» этим заканчивается акт. Занавес «падает». Он должен падать, ибо при раздвижном занавесе такой финал не получится никогда. В этом заключается смысл ремарки «под занавес».

Все эти театральные чудеса, эта очаровательная наивность переживаний исчезли, когда на смену старому театру простых чувств пришел литературный театр, театр интимных настроений, полутонов, пауз и тонких душевных ньюансов. Это был меньше всего — театр «действия».

Это был театр Метерлинка, Гауптмана, отошедшего уже от первых своих социальных драм, и Чехова. В нем театральный реквизит, театральные эффекты заменил звук, «символические звучания», которые участвуют теперь в театральном спектакле, создавая настроение и «обстановку». Упавшая бадья в шахте, стук топора, рубящего дерево за деревом, в «Вишневом саду», крик совы в «Иванове», стук сторожевой доски в «Дяде Ване» — все это по-настоящему «играет» в спектакле. И там, где звук не предусмотрен автором, его вводят режиссеры; они прибегают к нему, как к некоему ингредиенту театра, создающему настроение, напрягающему внимание зрителя к разыгрывающемуся действию. Отдаленные военные сигналы, перекличка труб вечерней зари, не указанные Шекспиром, в первой сцене «Отелло» (Диалог Отелло и Яго) по мысли режиссера, усиливают представление о военной обстановке гарнизонного города, каким тогда был Кипр. Этот чисто «театральный» прием великолепен, и так же театрально (и потому закономерно) введение музыки в классический спектакль.

Так, претворяясь в другой форме, воскресают в новом театре извечные театральные элементы — мелодрамы и водевиля.

В символическом театре Леонида Андреева мы можем проследить это на другом театральном моменте, неизменно оказывающем театральное воздействие: это — ощущение неизвестности, предчувствие надвигающейся катастрофы.

В старом театре вещей и действия этот момент воплощался в специальном персонаже, если хотите, амплуа, — «неизвестного». Почти в каждой пьесе старинного репертуара был Неизвестный: в «Параше Сибирячке», в «Аскольдовой могиле», в «Маскараде», где он выполняет роль карающей судьбы.

И было еще одно, давно исчезнувшее амплуа — Тени, выполнявшей свое назначение завязки драмы. Комментаторам Шекспира нечего, собственно, было ломать голову над толкованием роли отца Гамлета. Тень была просто, «амплуа», и в старых театральных контрактах так и писали: «на роли драбантов и теней».

Эти амплуа в символическом театре претворились в некие мифические личности*), всех этих бесчисленных «некто», как был «Некто в сером» у Андреева, Но что в старом театре было непосредственно и наивно, а главное воплощено в подлинно театральную плоть и кровь, у Андреева стало претенциозным, а все повторения: «некто пришел», «некто ушел», «некто сказал», в конце концов, утомляли зрителя, и прием лишался силы воздействия. Тем не менее самое эффектное место во всем театре Леонида Андреева связано с ощущением неизвестности. В «Тот, кто получает пощечины» Тот приходит в цирк, чтобы предложить свои услуги в качестве клоуна. Он подает визитную карточку директору цирка — папа Брике. Брике читает на карточке настоящее имя Тота, — знаменитого ученого, члена Академии. Это имя остается тайной для зрителя, оно никогда не будет произнесено в пьесе, оно умирает с прошлым Тота. Вся сцена ведется молча. Кто видел эту сцену в замечательном исполнении покойного Виктора Петипа и Ю. Л. де Бура тот помнит все захватывающее напряжение этого чувства неизвестности. Зритель — весь

---

*) Вспомните крысолова у Ибсена, мифическую личность Ванна в «Пиппа пляшет» у Гауптмана.

во власти театрального воздействия этого приема.

В этом чувстве неизвестности заключался один из важнейших элементов театра. И рядом — близкий ему мотив, таивший столько театральных возможностей: мотив появления «двойника». На сцене, мотив постоянно повторяющийся, начиная с классической мелодрамы Пиксерекура «Человек о трех лицах», «Убийства Коверлей», «Ограбленной почты» (в которой изображен действительный случай судебной ошибки, основанной на феноменальном сходстве двух лиц — Дюбоска и Лезюрка) до жуткой сцены раздвоения Ивана Карамазова*).

☆

Чехов и театр! Он рано приобщился к тайне актера, этот неловкий неуклюжий гимназист, часами просиживавший на театральной галлерее. И до сих пор никто, как следует, не проследил влияния ранних театральных впечатлений на развитие писательской страсти у Чехова. Он застал еще царство мелодрамы, и писал через двадцать лет в «Рассказе неизвестного человека». «Я мельком, в каком-то полубреду, точно зесыпая, оглянулся на свою странную бестолковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве». В этом признании — вся реакция мироощущения конца прошлого века против романтики старого театра, неизбежная эволюция театрального вкуса, которая обусловливает всегда смену театральных стилей.

Чехов застал еще старых трагиков, «подслеповатых и говорящих в нос», первых любовников в клетчатых брюках, и светлых перчатках, водевильных актрис «с переодеванием», целую галлерею театральных типов его времени, которую он хорошо знал и изобразил потом в своих рассказах. Это были те старые трагики, которые, за отсутствием подлинного вдохновения и техники, заменяли их громовым голосом, «вращанием глаз и сатанинской улыбкой». О них Чехов писал в «Скучной истории»: «Когда актер с головы до ног опутан традициями и предрассудками, старается читать простой и обыкновенный монолог не просто, а почему-то с шипением и судорогами во всем теле — то на меня от сцены веет той же самой рутиной, которая мне была скучна еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям.» А современный рецензент об одном из таких актеров, игравшем Франца Моора, писал: «А как он играл! Как не жалел он ни головы, ни горла, ни костюма. Ужас!»

И, действительно, они наводили ужас на публику. Известен факт, когда в одном из городов, градоначальник запретил к представлению мелодраму «Чума в Милане» потому, что игравший в ней трагик В. М. Лебедев навел такой ужас своей игрой, что многие попадали в обморк, и пьеса не была окончена!

А Леонаки страшного
Представил Качевской,
Высокий, зверский, пламенный,
Уж подлинно — герой! —

Как говорилось в современных стишках, ходивших за кулисами, по поводу одной такой «ужасной» драмы — «Молдаванская цыганка».

В годы своей театральной юности Чехов мог часто мидеть известного тогда трагика М. Ф. Яковлева. Об этом Яковлеве сохранилось много курьезных воспоминаний. Он отличался горячим, сильным темпераментом и увлекался на сцене так, что однажды вместо следуемой по роли фразы: «я иду к судебному следователю», сказал: «я иду к судебному слесарю!» В другой раз, играя в пьесе, в которой он имел блестящий успех в других городах, он по ходу действия должен был уходить с войском в арку задних декораций. На этот раз декорация была другая, и режиссер предложил ему уходить в бокорую кулису. На спектакле Яковлев так увлекся, что прошел все-таки в нарисованные на задней декорации железные ворота, прорвав бумажную декорацию. Публика увидела двери женских уборных!

Через сына этого Яковлева, — будущего коршевского актера А. М. Яковлева, учившегося вместе с Чеховым, тот впервые попал за кулисы и познал вблизи сказочное царство сцены . . . С Чеховым учился не один будущий актер.

Здесь он мог видеть и познакомиться с интересной личностью, которую он потом вывел в рассказе «Ворона». Это был — Вронди, театральный балетмейстер, танцмейстер, хорист и реквизитор. Маленького роста, юркий, с черной бородкой, он вовсе не был похож на Оффенбаха, как сказано в рассказе по непостижимой игре фантазии писателя (обычный для Чехова прием несовпадения внешности с действительным персонажем). Родом — константинопольский грек, он приехал с итальянской оперой, как хорист и компримарио, и остался навсегда в России, не расставаясь с театральными кулисами. Он бредил романтикой старинных «феодальных» опер, и лучшим воспоминанием его жизни был вечер, когда однажды, заменяя заболевшего певца,

---

*) В наши дни мотив раздвоения вновь повторяется во французской кино-картине «Dr Jekill et m-r Hyde» Paris Cinema в № 53 от 8 октября 1946 резко критикует эту картину, находя мотив устарелым. Но может ли устареть то, что является «вечно театральным?» Не подтверждает ли это инсценировка в наши дни новеллы Э. Т. А. Гофмана «Мадемуазель Скюдери», театральность которой заключается именно в двойственности грандиозной фигуры Кардильяка.

он спел Ренато в «Бал-маскараде». Позднее Вронди был деятельным членом Вольной Пожарной Дружины. Совсем крошечной казалась его фигурка верхом на громадной белой лошади, когда он появлялся на пожарах в каске, с трубой и топором. Как кошка, вскарабкивался он первый на крышу горевшего дома, сразу же обнаруживал место огня, рубил топором и победоносно кричал стоявшим внизу пожарным: «Ессо!» («Вот здесь!»)

Когда в смутные дни осени 1905 года члены пожарной дружины получили предписание полицмейстера принять участие в охране синагоги от готовящегося налета и явиться к зданию синагоги вечером «в платьи, не привлекающем внимания» — в старом хористе, столько раз изображавшем заговорщиков на сцене, зажглось ретивое. Вронди явился в условленный час в плаще, из под которого выглядывала маленькая шпага, и с лицом, закрытым полумаской. Это не было буффонадой: во взятом из театрального гардероба костюме он видел воплощение той таинственности и отваги, которых требовала его новая, на этот раз житейская, роль. Театр продолжался в жизни, и в него верил, верил безгранично, всеми фибрами своей души, старый хорист! Когда я вспоминаю этот эпизод, я думаю, что для психологии театрального творчества — он более чем простая «театральная» история.

А. Я. Чернов (Эйнгорн), сидевший на одной скамье с Чеховым в первых классах, рано ушел из гимназии. Блестящим метеором промелькнул он в оперетте 80-годов, сводя с ума своим бархатным баритоном и замечательною внешностью. Когда Мурзуком, в «Жирофле-Жирофля», он, в первом выходе, вихрем спускался со стены по веревочной лестнице, трепет проходил по залу, и апплодисменты смешивались с треском раскрываемых лорнетов и поднимаемым биноклей. Чернов был также замечательным исполнителем романсов, и один из них — популярная баллада Лишина «Она хохотала» — неразрывно связан с его именем.

Ее в грязи он подобрал,
Чтоб все достать ей — красть он стал;
Она в блаженстве утопала
И над безумцем хохотала!

Время шло, над героем разразилась катастрофа: он попадает в тюрьму, и . . .

Он в шесть поутру был казнен,
А в семь во рву похоронен.
А ночь пришла, она плясала,
Пила с другим и хохотала!

Потом Чернов перешел в Мариинский театр на первые партии и ему принадлежит честь создания первого русского Фальстафа в опере Верди.

Свою жизнь Чернов кончил печально: он умер в один год с Чеховым, в сумасшедшем доме. Последнее время он никого не узнавал. Посещавшие его в больнице друзья, заставали его неизменно расхаживавшим по комнате. Он был в желтых перчатках, и пел куплеты Торреадора.

Общие гимназические и театральные воспоминания связывали Чехова с будущим актером Художественного театра А. Л. Вишневским. Чехов писал потом Вишневскому: «Думал ли Крамсаков (гимназический учитель географии), что троечник Чехов напишет когда-нибудь пьесу, а троечник Вишневский будет ее играть?»

Играя потом Кулигина в «Трех сестрах», Вишневский, по желанию Чехова не только загримировался под Крамсакова, но и воспроизвел его манеры и походку.

На одном портрете, подаренном Чеховым Вишневскому, стояла загадочная надпись: «Современнику **Петрарки** и Жоржа.» Вишневский не был, конечно, современником великого итальянского поэта. Загадка объяснялась просто: Петрарка был смотрителем театра во времена Чехова, хранителем декораций, реквизита и библиотеки. Он приехал когда- то с итальянской оперой, остался в театре навсегда и так обрусел, что за кулисами его звали Иван Петров; но он был настоящим итальянцем, полное имя его было Джованни Руджиеро, и, действительно, он был однофамильцем поэта. Умер он в 1894 году. Жорж — было имя театрального афишера. Его прихода с нетерпением ждали гимназисты, чтобы узнать, что идет в театре.

И не то что увлечение, но хорошая юношеская дружба связывала Чехова с красавицей Ариадной Черец, вышедшей замуж за учителя гимназии Старова. Увлекшись кем-то, она бежала на сцену, и сделалась известной потом провинциальной актрисой А. Г. Дагмаровой. «Я слыхал, что это очень красивая актриса, но не представлял, что до такой степени», — писал в ее некрологе В. М. Дорошевич. Она испытала в жизни преклонение перед красотою, большую любовь и увлечения, сказочное богатство, бедность, радости и неудачи. Мягкая, безалаберная, «презиравшая практику жизни», она играла, и ей не платили, она антрепренерствовала, и ее обирали. Вокруг нее постоянно толпились старые разбитые параличем актеры, какие-то старухи; она отдавала последний рубль бедняку когда ее самое гнали за неплатеж из гостиницы.

Судьба Ариадны Григорьевны Старовой не прошла мимо Чехова-писателя. Когда, несколько лет спустя, в его записной книжке появились наброски нового рассказа об обаятельной и взбалмошной девушке, вскружившей голову молодому, жаждущему деятельности и труда человеку, — в памяти его всплыл ее образ — «высокой брюнетки,

очень стройной, очень гибкой, с чрезвычайно тонкими и выразительными чертами лица». Сходство и внешности и характера вышло настолько сильным, что Чехов не задумался дать героине (и самому рассказу) не только «Красивое и редкое имя», так поразившее в рассказе Шамохина, но и отчество живой Ариадны.

☆

Дети актеров! Они и сами становились актерами, впитав с молоком материи «волшебный яд» театра, чарующий запах кулис, всю атмосферу волшебства перевоплощения, — театра, в котором рождались, женились и умирали целые поколения, целые «династии» актеров, каких было много на старой русской сцене, всех этих Новиковых, Погониных, Самойловых, Медведевых.

Бывало (и это было почти правилом), что дети выходили пожиже отцов (цветок бывает меньше злака!), часто вовсе бездарны, но не было другого пути — продолжали играть и . . . огорчать своей игрой родителей.

У замечательного комика семидесятых годов, Д. И. Зубовича*), интереснейшего в жизни человека, страстного коллекционера драгоценных камней и не менее страстного охотника (застрелившегося из ружья, когда врачи нашли у него неизлечимую болезнь) был сын — совершенно бездарный актер. Однажды он играл в каком-то водевиле. Зубович смотрел спектакль из партера; рядом с ним поместился один его знакомый театрал. Во время действия, желая сделать очевидно приятное Зубовичу, знакомый сказал:

— Как хорошо играет этот молодой актер! Кажется, это Ваш сын?

— Что Вы, что Вы! — отвечал с досадой Зубович. — Это какой-то сукин сын!

И нередко, отцы как-то инстинктивно стремились уберечь детей от сцены, воспитать их вдали от театра, обычными «цивильными» людьми. Таким отцом был Н. Н. Синельников. Дети его росли вне театра, дочь получила прекрасное филологическое образование, старший сын стал известным врачем, младший — «Николай Николаевич младший», как звали его за кулисами, — был боевым казачьим офицером. Но ему было суждено погибнуть «от театра». По поводу какой-то нелепой театральной истории он был вызван на дуэль. Щепетильный в вопросах чести, он не мог не принять вызова. Дуэль на пистолетах состоялась в большом саду Кирьяновского особняка в Харькове. Н. Н. Синельников был ранен, и его истощенный организм (он был дважды тяжело ранен в первую войну и получил отставку) не выдержал: через несколько дней он скончался. Это была последняя дуэль в России.

Но чаще, уберечь детей от сцены не удавалось. П. Н. Волховской, известный не только как неудачный антрепренер по маленьким городам Юго-Западного края, но и как автор репертуарных в свое время водевилей («Жужу») и сатирических стихов, в которых он описывал современную сцену, как царство,

«Где нет ни жен, ни матерей,
Где вам ребенок повторяет:
Вчерашний папа был добрей!» —

и отдавший театру свое состояние и блестящую гвардейскую карьеру, отдал театру и своих дочерей — Коршевскую актрису С. П. Волховскую и милую провинциальную инженю Л. П. Погонину.

Одна трагическая быль приходит на память, когда я пишу эти строки. В одном из маленьких провинциальных городов проживал в отставке старый офицер Лиманский. Сибиряк родом, он в бытность свою в одном из армейских полков женился на маленькой водевильной актрисе. Родился сын. Жена сбежала с фокусником какой-то странствующей труппы, увезя с собой сына. Прошли годы. Лиманский переехал на юг, купил на окраине небольшой домик. Потекла тихая провинциальная жизнь: завелась дружба с офицерами местного гарнизона и актерами местного театра, от которых он все допытывался, не знает ли кто-нибудь о судьбе его жены. В одну из суббот сидели у Лиманского местный рецензент и старый безработный актер Щеглов, ютившийся около театра и кормившийся перепиской ролей. К домику подъехал экипаж, и из него вышел фатовато одетый молодой актер, гастролировавшей в городе опереточной труппы Б. Вновь прибывший осведомился, здесь ли Щеглов, и набросился на того с упреками за запоздание в переписке ролей какой-то пьесы. Лиманский вступился за приятеля и счел нужным представиться молодому актеру.

— Вы Лиманский? Я же ваш сын Саша!

Объятия, радость встречи, появилось вино, Саша остался ночевать у Лиманского. Когда, на утро, Саша отправился в театр, Лиманский, убирая домик, обнаружил исчезновение часов и шкатулки с деньгами, что-то около 2000 рублей, сбереженных про черный день.

Лиманский побежал в театр. Бросились искать. Б., но он исчез. Скоро было прислано товарищам следующее письмо:

«Друзья! Отцов у меня в России много, но такой, какого я обрел вчера, вероятно один. Хороший старик! Он к вам заглянет, — кланяйтесь ему. Не ищите. Приоденусь и стану набирать труппу. Пора и мне антрепренерствовать. Ваш Саша.»

---

*) Враг театральных интриг и дрязг, Зубович, заметил однажды, что суфлер в уборной шептался с антрепренером, и сказал ему: «Да говори ты громко, милый мой, а не шепчи на ухо! Шепчи, в яме сидя, а не нашептывай над ямой!» (Д. В. Гарин — Театральные ошибки, стр. 42).

Через несколько дней Лиманский застрелился.

☆

Они всегда манят к себе, эти милые тени, познавшие тайну перевоплощения, вкусившие «волшебный яд» сцены, и сгоревшие, как мотыльки, прикоснувшись к зажженным свечам старинной театральной рампы.

Не потому ли, что эта тайна перевоплощения всегда связывалась с каким-то ощущением греха, и театр, как всякое волшебство, как всякое видение*) долго считался грехом?

В тридцатой песне «Ада» Данте, мы встречаем интереснейшую фигуру. Это — Джанни Скикки. Он владел величайшим даром перевоплощаться в другие образы. И дар этот, по понятиям Данте, был от диавола. И не случайно Данте поместил его вместе с другой великой грешницей — Миррой, ставшей любовницей своего отца под видом другой женщины.

Falsificando se in altrui forma
Come l'altro che in la, sen va, sostenne
(Inf. XXX, 45)

Эти понятия Флоренции XIII века не прошли ли через всю историю отношений к театральному искусству и к актерам — его представителям?

Но, дети греха, они искупили его тем уже, что неизменно дарили людям радость забвения, минуты незабываемых наслаждений и счастья.

*) В театре наших дней эта ирреальность, этот магический характер театра нашли выражение в словах Отто Фалькенберга: «...nicht die Sache, sondern die Vision der Sache auf die Bühne zu bannen...» и дальше: «. .Nur noch Surrealität, Magie, Metaphysik, oder wie man es sonst bezeichnen mag. Nur zu spielen, zu erleben, aber nicht zu erklären.» (Цит. по книге Wolfgang Petzet, стр. 326 и 332.)

О сходстве современной кинематографии с ощущениями сна см. в интересной статье Жана Эпштейн: «Le cinema du diable» в ноябрьской книжке парижского журнала «Le magasin du spectacle».

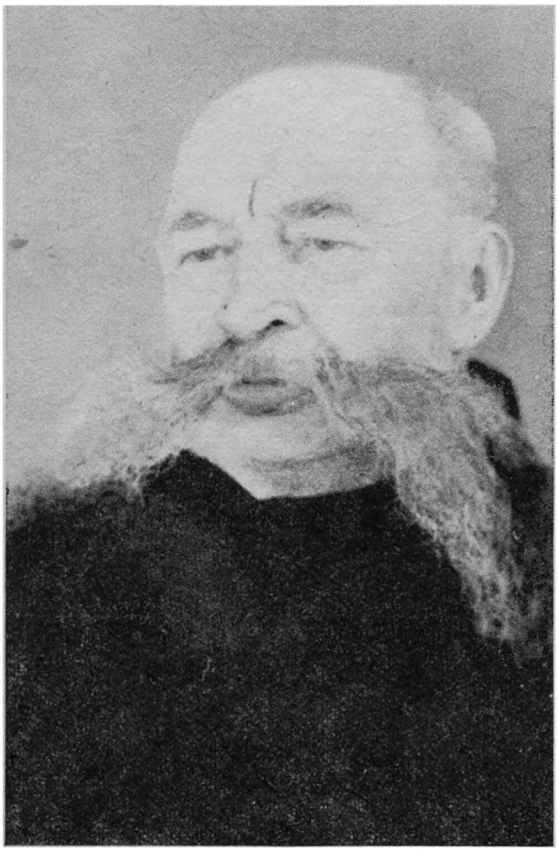
НЕКРОЛОГ

А. Н. Покровский

7-го января с. г. (25-го декабря по ст. ст.) предстала перед престолом Всевышнего пламенная душа Александра Николаевича Покровского, старого ветерана русской журналистики, бесстрашного и страстного поборника Правды Божьей, человечности и справедливости, верного рыцаря и хранителя лучших заветов российской культурной и государственной традиции. Малейшее нарушение, а уже и подавно — поругание высоких идеалов, которым всю свою жизнь неутомимо и стойко служил усопший, заставляли обливаться кровью его пылкое, но и больное сердце. И кто знает, не свели ли именно раны сердца, а не тяжелый телесный недуг, преждевременно в могилу этого журналиста-воина, борца и бойца по всему духовному и душевному складу своему, всегда готового грудью встретить противника, но по-детски беспомощного перед булавочными уколами и подленькими интригами и инсинуациями так-называемых «друзей». Он как-то терялся перед низостью людскою и мучительно страдал от нее. Его «вулканическая натура» (как А. Н. часто в шутку называл себя сам) не была создана для мелочных и мелких «подсиживаний», и вот как-раз за это любили покойного его искренние и подлинные друзья, особенно — из среды чуткой к слову Правды молодежи.

Родился А. Н. Покровский 13-го ноября 1879 г. в С.-Петербурге, учился он там же во 2-ом реальном училище, а затем в Институте Путей Сообщения. Уже с 18 лет начал он заниматься журналистической деятельностью, сотрудничая в «Биржевых Ведомостях». Не один старый петербуржец помнит живо и талантливо написанные «Картинки из жизни», печатавшиеся в «Биржевке» за скромной подписью «Руальд». Одновременно работал А. Н. и в «Петербургском Листке», и в суворинском «Вечернем Времени», и в московском «Раннем Утре». Многочисленные репортажи и за-

метки его помещались в «Новом Времени». Литературный и артистический мир Петербурга хорошо знал интересного и элегантного инженера-путейца, быстро выдвинувшегося в



первые ряды русской журналистики и заслужившего почетное прозвище «короля русских репортеров».

Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. А. Н. был военным корреспондентом и даже получил солдатского Георгия за то, что переносил раненых под огнем неприятеля. И тут он, как всегда, оставался верен своей рыцарской натуре.

☆

После революции 1917 г. А. Н. Покровский сотрудничал в харьковском «Вечернем Времени» Суворина и в целом ряде провинциальных газет с ярко выраженным национально-русским направлением. В Севастополе он — первый в истории русской журналистики — выпустил несколько номеров «Устной Газеты. Во время эмиграции он сотрудничал в большой болгарской газете «Юг», затем, переехав в Париж, издавал газеты «Парижское Утро» и «Набат», выпустил несколько брошюр на русском и на французском языках. Уже в последние годы, в Кемптене, Фюссене и Фельдмохинге под Мюнхеном, А. Н. Покровский издавал сначала «Радио-Сводку», а впоследствии «Русские Еженедельные Новости», имевшие постоянный круг верных читателей далеко за пределами их непосредственного распространения. Мало кто из русских кемптенцев, фюссенцев и мюнхенцев не знал колоритной фигуры «Деда», и многие горько оплакивали его кончину.

Спи спокойно, дорогой Александр Николаевич, пока в чужой земле! Вечная тебе память, соратник и собрат по перу, борец за правду и справедливость, за честь России и русского имени, до последней минуты не положивший оружия!

А. М.

БИБЛИОГРАФИЯ

ИВАН ЕЛАГИН. — «По дороге оттуда» — Стихи. Мюнхен. 68 стр. Цена 7 марок.

Русская поэзия не умерла. Не убили ее не «диамат», ни кривляния Хлебниковых, ни «халтура» Дунаевских.

Передо мною лежит небольшая, неплохо изданная, хотя и с опечатками, книжечка стихов Ивана Елагина, поэта милостью Божией, мимо которого не пройдет ни один «любитель российской словесности». Крупное и самобытное дарование молодого поэта сквозит в каждом его стихе, и даже там, где чувствуется влияние того или иного из признанных корифеев, где отдается естественная и неизбежная дань «мастерству» стихосложения и соблазну подражания великим образцам, ощущается своеобразная индивидуальность автора, которому сразу веришь, когда он говорит:

«Где у мола грузили арбузы
И таилась в камнях камбала,
Там мне музами были медузы,
А подругой татарка была!»

Елагин — лирик, но лирика его глубоко романтична и по всему внутреннему складу и порыву своему героична, и лишь смутное, почти бессознательное ощущение апокалиптичности нашего времени налагает печать Рока и обреченности на все его творчество:

«Там сук над водой перегнут,
И берег отчетливо выписан...
Мне кажется — я Пер Гюнт,
Которого выдумал Ибсен!
...И сразу — от белых камней
До кустика — все опознано!
О Сольвейг, выйди ко мне,
Если еще не поздно!»

Да, если еще не поздно... И мнится, читая строфы Елагина, что он, подобно Ивану Карамазову, приемлет Бога, но мира Его не приемлет, не может и не хочет вникать ни в страшную тайну страдания, ни в великую тайну искупления.

«Милый ад: ни пушек, ни ружей...
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной?»

Грозные события наших дней для поэта даже не трагедия, а какой-то «космический балаган»: «Скорее дьявол взял бы весь этот мир, весь этот тусклый хлам!» — восклицает он, и снова веришь Елагину, что это — не громкая фраза «для красного словца», а вопль души, смертельно раненной жуткой и кровавой действительностью недавнего прошлого, настоящего и... будущего. Гнусны и пошлы образы этого недавнего прошлого, встающие перед поэтом:

«Как вечерами троттуары глухи,
Как сердцевина города мертва,
Где тучные мошенники и шлюхи,
Как синие прожорливые мухи,
Слетались в ресторанные хлева!
Теперь их нет. Куда девалась наглость?
Еще и первый выстрел не остыл —
Скорей — окно бумажками крест-накрест,
Трюмо на грузовик — и в тыл!»

Безотрадно настоящее:

«Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли...
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать.
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится — и откроет мать,
Откроет двери мальчику седому.»

Особенно безотрадно это настоящее для русского изгоя:

«Топчемся, чужую грязь меся,
Тошно под луною человеку.
Отвязаться бы от всех и вся!
С темного моста да прямо в реку!

Беспросветно будущее:

«День отступит, тьма поборет,
Выйдут звездные полки...
С Новым Годом, старый город!
С Новым Горем, земляки!

Тот повесится в уборной,
Этот сбросится с моста,
У кого-то ночью черной
Вынут дуло изо рта...

Кто еще нас объегорит,
Счастье новое суля?
С Новым Годом, старый город,
С Новым Голодом, земля!

За далекой переправой
Может, бросим якоря,
Где-то проволокой ржавой
Повстречают лагеря.

Не повесят, так уморят,
Не леса, так рудники...
С Новым Годом, старый город,
С Новым Горем, земляки!»

Но для Елагина русская судьба и горе «земляков» — это лишь отражение жуткой обреченности «земли» вообще:

«Ты — подброшенная монета,
И гадают Дьявол и Бог
Над тобою, моя планета,
На какой упадешь ты бок.

...В торжествующем урагане
Голос Бога уже невесом.
Ты в космическом балагане
Стала чортовым колесом.

...И молиться уже бесполезно,
Можно только кричать в небеса:
— Зашвырни нас куда-нибудь в бездну,
В бездну с чортова колеса!»

Страшно становится за поэта, если он сказал миру свое последнее слово. Но, внимательно вчитываясь в стихи Елагина, строфа за строфой, не веришь, не можешь верить, что это его последнее слово, что это — все, что он, подлинный поэт милостью Божией, в состоянии нам дать, как мироощущение и жизневосприятие.

«Кончается ночь снеговая,
И крыши всплывают грядой.
Звезда над дугою трамвая
Дрожит **Вифлеемской звездой.**»

Только эта Вифлеемская звезда — звезда путеводная.

М.

Вышли в свет и находятся на складе:

Цена

„НАШЕ ВРЕМЯ"— еженедельная газета, №№ 1, 2, и 3—цена (за номер). 1 м.

„Борьба за мир" вып. 1-й „Америка и мир" — 3 м.

" " " 2-й Государственные деятели о современ. полит. положении—4 м.

Н. ИВАНОВ. От мировой войны к борьбе за мир. 2 м.

„ЧТО НАС ЖДЕТ" (Вопрос о беженцах в союзе объединенных наций). 7 м.

Г. КРЕМЛЕВ. „За железной завесой". (По страницам мировой прессы). 8 м.

П. КРАСНОВ. „Терунешь". (Рассказ). 4 м.

А. НИКОЛАЕВСКИЙ. Пасхалии на 12 лет. 1 м.

И. А. ГРЕБЕНЩИКОВ. „Господи и Владыко живота моего". 2 м.

У ВРАТ. Литературно-художественный и общественно-политический сборник под редакцией А. И. Михайловского вып. 1-й 12 м.

„РАЗВЕДЧИК" (Журнал для юношества № 1-й (9). 8 м.

ПРОРОЧЕСКАЯ БЫЛИНА (Как святые горы выпустили из пещер своих русских, могучих богатырей) Иллюстрированное изд. 7 м.

А. И. МИХАЙЛОВСКИЙ. „Соблазн зла". (Судьбы России). 3 м.

В. ИРВИНГ. Эдгар По. Рассказы. 5 м.

И. С. ТУРГЕНЕВ. Рассказы вып. 1-й. 3 м.

А. И. ГРЕБЕНЩИКОВ. «Необходимые сведения о Святой литургии».

А. С. ПУШКИН. «Капитанская дочка» 8 м

А. С. ПУШКИН. Избранные стихотворения. (Распродано).

„Я ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ". Анекдоты об А. С. Пушкине. 3 м

ФЛИРТ ЦВЕТОВ. Занимательная игра для всех. (32 таблицы на хорошем картоне в спец. упаковке),. 10 м.

ВЕРБОЧКИ. Альманах для детей младшего возраста. Иллюстрированное издание. 10 м

Памяти Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича. Роскошно иллюстрированное изд. 8 м

Находятся в печати и выйдут в ближайшее время:

А. С. ПУШКИН. «Бахчисарайский фонтан».

А. С. ПУШКИН. «Евгений Онегин».

Н. СОЛОДКОВ. «Сказки капитана Гранта» (для взрослых).

Мих. ВАРЕНЦОВ. Сборник рассказов («Никто» и друг.), вып. 1-ый.

А. П. ЧЕХОВ. Избранные рассказы, вып. 1-ый.

И. С. ТУРГЕНЕВ. Избранные рассказы, вып. 1-ый.

Н. В. ГОГОЛЬ. «Вий» (иллюстр. издание).

П. КРАСНОВ. «Аска Мариам» (рассказ).

Г. КРЕМЛЕВ. «Мельница в лесу» (Повесть).

Е. ГАГАРИН. Сборник рассказов.

Е. КОВАЛЕНКО. «Тохтамыш» (Отрывок из поэмы «Москва»)—иллюстр. издание.

Е. КОВАЛЕНКО. Стихи, книга 1-ая.

Русские музыкальные портреты:

Вып. 1-ый — А. Зверев «П. И. Чайковский». (богато иллюстр. издание).

Вып. 2-ой — З. Агатгорн. «М. П. Муссоргский» (богато иллюст. издание).

И. К. СУРСКИЙ. «Отец Иоанн Кронштадский». (Ограниченное издание—только по предварительной подписке).

МОСКВА. (Исторический очерк к 800-летию Москвы) роскошно иллюстрир. издание.

МАРК ТВЕН. Избранные рассказы.

УЧИСЬ СЧИТАТЬ. Веселая и полезная книжка для малышей.

П. И. КРАСНОВ. Венок на могилу солдата. (С портретом автора).

ДЕТСКАЯ АЗБУКА.—Иллюстрированное издание в 4-х красках. Огранич. тираж на лучшей меловой бумаге. 15 м.

Инж. Б. КРЕСТИНСКИЙ. „Технический прогресс и мелкие предприятия. (Ошибка марксизма)", с чертежами в тексте.

„ГОЛОС ИНЖЕНЕРА" —Технический журнал с иллюстрациями.

Инж. ИВАНИЛОВ. «Ракеты и реактивная авиация». (Иллюстр. спец. чертежами и снимками).

О. АЛЕКСАНДР РУДАКОВ. «Краткое учение о богослужении православной церкви».

ВАХТЕРОВ. Букварь (богато иллюстр., дополненное и переработанное издание).

РУССКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ. ч, 1-я и 2-я (для младш. и ст. возраста).

Е. КОВАЛЕНКО. «Бунт игрушек.»—Стихи для детей. (Иллюстр. издание).

ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. (Сборник сказаний и исторических преданий нашего славного прошлого. Иллюстр. ценными репродукциями).

„ЗЛАТОУСТ“
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЮНХЕН-ШЛЯЙСГЕЙМ